



Василий Аксёнов

ЗОЛОТОЙ
ВЕК

 ЛИМБУС ПРЕСС

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Василий Аксёнов
Золотой век (сборник)

«Издательство К.Тублина»

2003–2017

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос-Рус)6

Аксёнов В. И.

Золотой век (сборник) / В. И. Аксёнов — «Издательство
К.Тублина», 2003–2017

ISBN 978-5-8370-0859-7

Сборник рассказов и повестей «Золотой век» возвращает читателя в мир далёкой сибирской Ялани, уже знакомой ему по романам Василия Ивановича Аксёнова «Десять посещений моей возлюбленной», «Весна в Ялани», «Оспожинки», «Была бы дочь Анастасия» и другим. Этот сборник по сути – тоже роман, связанный местом действия и переходящими из рассказа в рассказ героями, роман о незабываемой поре детства, в которую всякому хочется если и не возвратиться, то хоть на минутку заглянуть.

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-8370-0859-7

© Аксёнов В. И., 2003–2017
© Издательство К.Тублина, 2003–2017

Содержание

Дождь	6
Солноворот	41
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Василий Иванович Аксёнов

Золотой век

© В. Аксёнов, 2018

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2018

© А. Веселов, оформление, 2018

Дождь

Нет достоинства добывать себе жизнь для себя, для своей драгоценной личности, и защищать свою личную свободу, всякий зверь так поступает.

Н. Ф. Фёдоров

Около Ялани. На виду. На самом въезде, если следовать в село от города, у сворота с тракта к ельнику. Там, где когда-то, до – как выражаются здесь некоторые, на собственном опыте пережившие коммунистическое раскулачивание и расказачивание, старые люди – христонаступнической власти местных рыбаков-бездельников и пришлых наглых, *большиеротых*, голодранцев, стояла в духовном карауле ладная *листвяжная* часовенка. На Копыловской долине. Возле остожья в четыре жиденьких осиновых жерди, на стяжках из алюминиевой проволоки с ещё не вывезенным из него промокшим по бокам зародом сена под сырой, тяжёлой снежной шапкой, средь бела дня задрала медведица двух мужиков. Отца и сына. На коне в саях отправились те в ельник за дровами.

Как на притчу. Так будут говорить потом встревоженные, словно пчёлы в кем-то задетом нарочно или нечаянно улье, яланцы, долго ещё после вспоминая и обсуждая это несчастье. И им поехать, мужикам, ни часом раньше, ни минутой позже, мол, и той, медведице-то, подгадать. Ну, смерть-де не ружьё – как ей приспичит до кого, так ни осечки, ни промашки у неё не происходит, лупит прицельно. И суждено-то если, мол, не прозеваешь и не разминёшься, в должное время к встрече с ней, неумолимой, подоспеешь. Знатьё-то б, дескать, дома бы остались. Ну, так знатьё! Знатьё-то бы, так и соломы там, где надо, подложил бы, не за большим, мол, делом.

Такая *притка*.

Нашли их, загубленных и, *как шевяки*, уже окоченевших, вечером, при стгутившихся ноябрьских потёмках, передвигаясь в поисках с фонариками, – пока думали-гадали да сговаривались, пока неспешно собирались, время и протекло – кто же тогда такое мог предположить, худое-то, всё что угодно, но не это, – и стемняло. Дома у них давно уже забеспокоились родные: долго никак с дровами-то не обернутся. Ну а потом – и лошадь прибежала. Унеслась она сначала, судя по следу, в направлении Елисейска, в Ялань вернулась уже в сумерках, *взмывленная, как мышь*, и со сбитой на бок сбруей; кое-как дала себя распрячь; всю ночь после, рассказывали, ещё дико вскидывалась и всхрапывала – так напугалась; круп-то и ей когтями оцарапала косматая зверина. Лежали метрах в тридцати от тракта, отец с одной стороны санной дороги, сын с другой; у отца топор в руке зажат был, а у сына – в кулаках по клоку бурой шерсти. Мякоть выела у них – шатаясь-то, оголодала.

Убили медведицу охотники на следующий же день. Скоро настигли и управились. Так всю ночь вокруг Ялани и петляла. Уходить далеко от деревни не было у неё и в намерении, пожалуй; и всё равно догнали бы, отметилась так *кровно*, никуда бы ей не деться, обрекла себя на гибель. На Кеми, на льду, и завалили. Там же, на льду, под заполошный треск сорок, тихое попискивание синичек и под зорким наблюдением немых от напряжения ворон, наполнивших береговой тальник, и ободрали. *Плотным, вонючим* мясом её, медвежатиной, собак своих кормить теперь охотники станут, кашу перловую им, мясом этим, разбавляя, – сытно, зиму-то не лежать собакам, *ди работать*. Была супоросна медведица, чижёлая, как говорят тут, тремя крохотными, *с напёрсток*, медвежатами. В марте, всё-то шло своим бы чином, в сухой, тёплой берлоге и разрешилась бы, в конце ли февраля. Но не случилось.

Уничжённых похоронили. Были они при жизни Голубевы по фамилии, из коренных, из местных, из чевошников-чалдонов, теперь: *прими и упокой души их грешные, Господи, –*

смерть-то какая вот, нечаянная, лютая – от зверя, минуй бы всякого такая; и теперь они не Голублевы, а – покойники. Остались у них вдовы, у невестки – и детишек двое. Белобрысые девчонки. Малые ещё – не понимают: народ собрался в доме на поминки, им и весело, девчонкам. Женщинам – горе – такая утрата. Одна воет, другая ей подвывает. Нескоро теперь стихнут – не ветер.

В конце сентября напал щедро снег, в полметра сразу, чуть ли не весь октябрь после поджимал морозец крепкий, а в начале ноября, на Казанскую – вдруг и для этих мест в диковину – оттепело и *задожжыло*. Чтобы ещё когда происходило так, никто тут и не помнит. В берлоги стала затекать вода, медведи-то и поднялись и подались, заколобродя, ближе к людям – в тайге им нечем пропитаться. До весны всех их, *шатунов*, выбьют, где какой только обьвится, – нам и с самими-то с собой ужиться трудно, людям.

Помогала на поминках Голублева Катерина, родная сестра и тётка покойных.

* * *

Всю первую половину мая дуло. Дуло и дуло.

«Бытто в шшель из преисподней. Откэль ишшо сквозить-то эдак может, оттэль тока. Заслонку сдвинули враги, там раскозокались, оно и свишшет», – сказала бы её, Катерины, бабушка по матери, Фиста Егоровна Усолицева, будь бы она жива сейчас, конечно. Умерла нынче на Пасху рано утром, свет забрезжил только-только. Отошла радостно, с охотой, как на покос будто отправилась. Очень уж покосничать любила, больше другой какой крестьянской работы, *и жила бы на покосе*. Отошла, оставив на своём круглом, скуластом лице, поросшем, как лист медуницы с исподней стороны, белым, мелким, бархатистым пухом, светлую улыбку, – так приветливо к ней, к смерти, своего кого за ней увидела ли, улыбалась-то тому ли? Рядом будто, а сокрыто. И не вникнешь, не дознаешься. Полных девяносто шесть лет *за спину, как тень, откинула и, бытто голодом, имя, годами-то, до горести насытилась*. В добром уме до самой, дай Бог каждому, кончины пребывала, рассуждала ясно, здраво: гостью, смерть-то, поджидала – *та всё мешкала пошто-то*. «Мной и смерть-то, как гостинцем малым, брезгует, – говаривала Фиста Егоровна. – По грехам моим такое: дё-ёрзкая больно уж, строптивая. Как корамора, видать, иссохну, но не упокоюсь. Да сносить уж как-то надо. Жизнь вытерпеть – на свете пушше-то труда и нету – одно бы дело наказание, а то и дар идь – пользуйся на благо».

Когда вспоминает теперь её, бабушку, Катерина, всякий раз при этом повторяет: «Царство Небесное, кровинушка родная. Хорошо тебе, наверное, раз умирала, улыбалась-то. Не каждый... Заслужила: сроду и мухи не обидела, пожалуй – *муха-летуныща, мышка-бегуныща, травушка-смиреныща*. Ну и нам тут пока ладно. Только скучно без тебя, тоскливо. Мне и дедушке, тому уж и подавно – виду только не показывает. Вечерами-то, как в комнатку твою войду, заплачу. Смотрит, смотрит на твою кровать пустую Боженька, глядит упорно – вглядывается, как в любимое-любезное. Ну и я теперь, как раньше ты, в лампадку масла подливаю – теплит».

Две недели не стихало. Как отмерило. День в день. Пока у него, у ветра, будто завод не кончился. Вечером в одно воскресенье началось, в другое воскресенье вечером и прекратилось. Не успокаивалось даже и на короткую уже, но тёмную пока ещё, не белую, ночь. А иной ночью и того пуще разыгрывалось. Звёзды с неба как-то не сдувало, крепко, значит, приколочены, но зато уж их надраило – сияли.

Всё везде выстудило. Где тепло какое хоронилось, отовсюду его выжало. До душ людских едва не добралось.

В лесу валило подгоревшие или подгнившие деревья. Ломало в Ялани долговязые, скрипучие антенные шесты и скворечни – обновляли после их хозяева.

Сдиralo с пристроек плохо закреплённый рубероид. Его чёрные лохмотья заодно с вытаявшим из-под снега и подсохшим уже мусором таскало после сутками по деревне, пока не загоняло где-нибудь в лужу или в заросли прошлогодней крапивы, как в ловушку.

Сносило с крыш шиферные листы, кроша их тут же о заборы или, подальше отшвырнув, об землю, – в убыток людям.

Приунывшим от такой погоды и от бессезонья собакам, раздражая их изрядно, трепало шерсть в пахах и на загривках.

Дыму вверх подняться не давало. Сорвав, чуть только высунется где с печной трубы, мотало его, как нарочного, туда-сюда по улицам и по полянам, пока тот от него, от ветра, не спасался в ельнике, там-то уж всё же – не на голом тебе месте.

И тянуло всё это время, не сворачивая, как по трубе прямой, невидимой, с севера. С низовки, как говорят здесь. Прокидывал и снег, высыпаясь реденько и будто ненароком из бело-розовых, как молочные поросята, бесформенных и жидких облаков, через которые не только солнце виделось, но и проглядывало голубое небо – таких неплотных, словно выветрившихся.

И вот уже неделю стоит тепло и тихо. Погода красная, как говорят в Ялани старики. Для молодых погода и погода, кости-то ни в какую им не ломит, ни в плохую и ни в добрую, а если и ломит от чего-то, так не от погоды.

Пронизанно, затаённо: словно бабочка из куколки, рождается из весны лето. Набухают на кустах и на деревьях почки. Можно услышать даже, как они лопаются; щебет птичий только заглушает. На солнечных местах из них, из почек, уже и листья показали, проклюнулись буро-зелёно.

Воздух смолисто загустел – пьянит, тревожит. Пахнет прелым. Воспаряет.

Дали нечёткие – размыты сизым маревом – взгляд притягивают, душу манят, да куда она от тела, заодно пока томятся.

Дым от костров, в которых, не боясь, в безветрие, что залетит куда-нибудь искра – *заронит*, сжигают оставшуюся с осени ботву и скопившуюся за зиму труху сенную в огородах, и из печных труб, где топится, беспрепятственно теперь уходит кверху, в синеве теряется, неразличимый.

Прилетели галки и кукушки. Первые в поисках корма, прошлогодних ли своих следов, шляясь по не просохшим ещё огородам или праздно болтаясь стаями в безоблачном весеннем небе, радостно галдят. Вторые, всегда будто сытые, однообразно кукуют, в тайге окрест и тут, в Ялани прямо – со столбов, с обнажённых ещё берёз, рябин ли в палисадниках. Кому-то не нравится, выходят, прогоняют, если кукует рядом с домом. «Надоела, – говорят. – Наскрозь уж уши все прококовала. И кокует и кокует... ну, дак делать-то ей нечего... как репродуктор». Переместится кукушка на другой столб, на другую ли берёзу, оттуда заведёт свою нехитрую, *булгалтерскую*, песню. Ну и на самом деле: нечем ей заняться – детей своих, и тех не растит, легкомысленная.

Снег на открытых местах весь съело, остаётся он ещё только в лесу, в тёмных, частых пихтачах да ельниках, ноздреватый и зернистый, доживает – век у него тут, вокруг Ялани, долгий.

Вода в Кеми ещё не в берегах, большая, мутная, влечёт по ней похожие на куски пористого пенопласта клочья бело-рыжей пены, щепы, брёвна, доски, прошлогодние будылины и лесины с корнями – *кокоры*, упавшие с подмытых где-то берегов.

Лёд пронесло. Лежат в тени, под обрывами, и в зарослях прибрежного, ободранного и растрёпанного ими в раскалье тальника не успевшие ещё растаять рыхлые, светло-зелёные, как внутренности свежего огурца, льдины, сочатся.

Сквозь старую, жухлую начинает только-только пробиваться молодая травка – глаз радуется.

Пчёлы летают высоко и густо: за нектаром к вербам и обратно – мёд, значит, будет. *Майский*. Первый, может быть, поэтому и самый вкусный. Ночью заморозков сильных не случится, тогда будет.

Звенит от пчёл, словно от шрапнели, над Яланью небо. Как хрустальное. Не расколосось бы – засыпет крошками, осколками.

Столковавшись по уличному теплу, которое здесь как подарок дорогой и редкий, и устав за долгие холодные месяцы от зимней тяжёлой одежды, люди по-летнему одеты: мужчины – в своих *рабочих* неизменных парных костюмах, штанах, заправленных в кирзовые сапоги, и *пеньжаках*, женщины – в лёгких, повседневных, *обыденных*, *кохтах* и платьях; мальчишки – те и вовсе – в майке и в трусах, а кто от солнца не облазит, и без майки – загорает; лишь старики – те только к июлю из телогреек выберутся, и то не всякий, иной, осторожный, до следующей зимы так и валенок не снимет, *чтоб от земли-то не иззябнуть*, и – шапки, темя чтобы уж не настудило, – Бог бережёт ведь бережёного – слова, конечно, не пустые.

У взрослых свои заботы, у детей свои, мало кто сейчас дома находится – усиди-ка! – совсем уж немощные разве, и тех, есть у кого кому, на лавочки около ворот или возле палисадников вынесли – проветриться, – как полушубки, прежде чем их, пока не надобны, убрать в кладовки или на полати.

Вот опять и воскресенье.

Геологи отдыхают. Накупив в магазине по-купечески обильно выпивки и закуски, уехали они с утра пораньше куда-то на *танкетке* бражничать. Не то на Монастырское озеро, не то на Нижний Крутой яр. Красивых и пригодных для такого времяпрепровождения мест достаточно в округе. На вездеходе-то они куда угодно проберутся, ничто нигде их не задержит, и даже Кемь – переплывут на нём и реку, а уж обратно-то – и море будет по колено им. Вернутся, как обычно, и если не случится что в дороге, ночью; ещё и пошумят, может, недолго – бывает; между собой; к местным не пристают, не задираются, с туземцами они, к спокойствию Ялани, в добром мире – *покуда девок-то не делят* – оно и ладно.

Поварихой у них Катерина. Наняли они её ещё в апреле, сразу, только-только здесь обосновались. Предложили ей, она и согласилась, по совету бабушки, ещё жива была та: девка, ступай и не раздумывай, работа, мол, под боком, и не пыльная, у печки постоять – не землю рыть и не хлысты в тайге ворочать, и деньги, дескать, нам не помешали бы. Оно и верно, не быть денег может, а лишними они не бывают. Пошла. Готовит теперь шесть дней в неделю геологам, на восемь человек, завтрак и ужин, а обедают они, геологи, *в поле*. И ей не хлопотно, и нанимателям ладно, очень довольны они поварихой, величают её уважительно Катериной Ивановной. Рано подняться для неё не тяжело, а даже в радость, с малых лет привыкла вставать с петухами, да и готовить, с бабушкой рядом, научилась, головы над этим не ломает.

Выходной сегодня и у Катерины.

Живёт она по соседству с общежитием, щитовым бараком, бывшей рыбооповской конторой, где и базируется партия. Дверь входную – кем-то и зачем-то, скорей всего, мальчишками и ради баловства, с петель снята была, тут же и брошена – повесили на место да окна только застеклили. Сверху не льёт, сбоку не дует. Больших удобств, не избалованным, им и не надо, так уютно; ну а к зиме они все далеко уже отсюда будут – по домам своим разъедутся.

На невысоком, в три ступеньки, простеньком, некрашеном, крепком ещё крыльце общежития сидит тот, с длинными, соломенного цвета волосами, перетянутыми вокруг головы, как у хиппи или у древнерусского гусяря, кузнеца ли, плетёным шнурком, и тёмно-каштановой, кудрявой бородой, чудной, но симпатичный, как считает Катерина. Глаза у него большие, светло-карие, и глядит он ими из-под мохнатых, словно подкрашенных, ресниц бесхитро, как телёнок, – так, Телёнок, про себя она его и называет добродушно. А бабушка, Фиста Егоровна, выглядев его в окно, так говорила про него, бывало: «Этот... Патлатый-то... Как батюшка». И ещё она, крестясь и глубоко вздыхая, добавляла: «Это пошто оне, как девки,

нонче не стригутся-то?.. Космы отрастят, так оно и надо бытто. Прямо беда с имя и только». Не пьёт – за сторожа остался. Зовут его Слава. Он из Ленинграда. Лет ему около тридцати. Рядом с ним, на перилах крыльца стоит катушечный магнитофон, звучит музыка. Сам он читает какую-то толстую книгу в чёрном твёрдом переплёте.

Катерина вскапывает в огороднике землю под грядку. Скоро, только земля взрыхлённая прогреется, подсохнет, она тут что-нибудь посадит, лук или свёклу, что, и сама ещё не знает. Грядку сделает, тогда вот и решит. В прошлом году сидела здесь морковка.

– Может, сюда мне репу нынче сунуть? – вслух сама с собою рассуждает Катерина. – А чё, и суну. – В красных босоножках на толстой пробковой подошве, чтобы ногу об лопату не давило. – Репу, баушка, ага идь? – В голубом, в мелкий белый горошек, ситцевом платье без воротничка и с короткими рукавами. На голове у неё пилотка из газеты, из-под которой, рассыпаясь, выбиваются русые волосы с искристым золотым отливом. На носу и около, под глазами, как посеянные, мелкие точки-веснушки, которые появляются только весной, а к зиме бесследно, и без спросу у хозяйки, исчезают, будто самостоятельные – так оно и есть, наверное, – своевольные. Глаза, как небо, бирюзовые – такого цвета. Щурит их на солнце дружелюбно Катерина, прячет за ресницами. Восемнадцать лет исполнилось ей в марте, взрослая. – Или уж лук?.. Пока не знаю.

На толстом лиственничном столбе бревенчатого забора, что между огородчиком и оградой общежития, где обосновались геологи, обернув себя хвостом, сидит, как на постаменте, рыжий, потрёпанный кошачьей жизнью кот, глядит внимательно, как естественноиспытатель, на Катерину.

– Жарочек, – говорит ему Катерина.

Молчит Жарочек, будто и не слышит, нет бы в ответ хоть что-нибудь мяукнуть. Зенки у него бледно-жёлтые, располовинены полосками-зрачками, словно острым лезвием разрезаны. Усы – как будто он их где себе случайно подпалил, или как будто мыши их ему подгрызли – короткими щёточками – только одежду ими чистить. И выражение морды у него глупое, как у копилки из папье-маше, – мурластое.

– Не усни, – говорит ему Катерина. – То упадёшь... на солнышке-то разомлешь... Походил бы, поразмялся... Не по вскопанному только.

Кот и ухом не повёл. Не жмурясь, пялится на Катерину; солнцу в его зрачки-прорези не проникнуть, потёмки в голове его не разредить – и не пытается, похоже, просто – ощупывает лучами – как что-то неизвестное.

Закончив вскапывать, Катерина втыкает лопату в землю, снимает с головы и вешает на черенок лопаты бумажную, сложенную из газеты, пилотку, идёт к забору. Гладит безмолвного и бездвижного кота по ошетинившемуся вдруг хребту, чешет пальцем ему за зубчатым, обмороженным в зимнюю стужу, ухом. Смотрит на сидящего с книгой на крыльце общежития Славу и спрашивает:

– А кто у вас это играет?

– «Битлз», – отрываясь от книги и затенив ею глаза от солнца, отвечает не сразу геолог.

– А-а, – говорит Катерина.

– Нравится? – спрашивает Слава.

– Да так, – говорит Катерина. – Нерусские?

– Нерусские.

– А вчера вечером кто пел?

– Вечером?.. Вчера, – задумался геолог. Вспомнил, наверное, и говорит: – А-а. Челен-тано.

– У-у, – говорит Катерина.

– А что?

– А у того мотивы красивее.

– Ну... Не буду спорить, Катерина Ивановна, – говорит Слава. – Но Челентано тоже ведь нерусский.

– Мало ли... А чё читаешь?

– Хемингуэя.

– Тоже не наш?

– Тоже не наш. А это важно?

– Не знаю... Может быть... Мне наши интересней. Я люблю Пушкина, Тургенева и Гончарова.

– А Достоевского?.. Толстого?

– Не-е-а, я по ним экзамен чуть не завалила... Ну, я пошла, – говорит Катерина.

– Всего хорошего, – говорит Слава. Положил книгу на колени, уткнулся в неё снова. Рядом с магнитофоном, на перилах же, стоит стакан с золотистым компотом – потянулся, взял, отпил – и всё это не глядя; тут же стакан вернул на место.

Чудной, – думает про него Катерина. – Телёнок... Но симпатичный. Наши не такие... Наши... как эти... – и думает: – Тепло-то, Господи, тепло как... ну дак и время... и пора уж.

Выйдя из огорода, затем – в настежь открытые ворота – и из ограды, оказалась она на улице, зеленеющей уже муравой – скоро та после зимы в себя приходит, быстро просыпается.

Около дома, на обшарпанной и облупленной – сплошь голубой, наверное, когда-то – лавочке, спинкой гвоздями приколоченной к забору – чтобы не качалась, шаткая, с подгнившими от времени ножками, сидят её, Катерины, бабушка, Игнат Иванович Усольцев, и его приятель, Пребодаев Николай Ефимович. Игнат Иванович в старой ондатровой шапке с болтающимися ушами и свисающими с них тесёмками и в новой телогрейке нараспашку, а Николай Ефимович в казацкой, облезлой по краям, чёрной когда-то, теперь бурой барашковой папахе и в солдатской шинелке современного пошива, с малиновыми на ней сержантскими погонами и петлицами. Оба – в броднях. Бродни и у того и у другого блестят и пахнут ядрёно дёгтем – только что их, похоже, смазали. Ел аза у них, у стариков, выцветшие, как клочки бумаги от давнишних похоронок, слезятся, усталые, на ярком солнце, глядят ими куда-то старики – за горизонт слепо, в прошлое ли зорко – туда-то зрение не слабнет, а, напротив, с каждым годом обостряется.

Перед стариками развалился на земле кобель, спит, ему и запах дёгтя не мешает. Висит над ним, тоненько крыльями позванивая, строка – муха такая жёлто-полосатая. И на неё кобель внимания не обращает.

– Соболь, – говорит Катерина.

Оторвал от земли Соболя голову, скосил глаза на Катерину и, помигав ими виновато, плюхнулся ухом обратно в муравку, лапой стукнув себя по носу – что-то с него стряхнул как будто.

– Ага, – говорит Игнат Иванович. – Да как же.

– Я всё вскопала, бабушка... в углу там оставалось, – говорит Катерина. – Пусть земля теперь просохнет. Садить уж после буду, на неделе.

– Пусь, конечно. Знамо дело, – говорит Игнат Иванович. – Других-то нече быть глупе: люди не сядят вон, и мы малёхо-то потерпим. Указу нет прямого в этом – не упомяну. Шибко в сыру-то да в холодну семя запихивать, поди, не станем... На каку такую язву? Посев тока загубить. Вроде и время не ушло ишшо, оно успеется... Куды направились-то? К речке?

– К речке.

– Куды?!

– Да к речке, к речке, деда, чё, не слышишь?!

– Да я и говорю тебе, что к речке. Ты там хошь в воду-то не забирайся.

– Не заберусь, деда, не бойся.

– А в одном-то платишке пошто?.. Чё, разжарела?

– Да тепло же вон какое.

– Тепло... Какое там тепло.

– Ты, девка, замуж-то когда? – спрашивает её Николай Ефимович. Однорукий. Другая есть, но: *отсохла – утомилась робить*. Ею, одною, ловко управляется: полез в карман шинелки за кисетом, трубка лежит уже на лавочке – готова: зёвом своим голодным поджидает – выбил только что из неё о колено своё пепел, упал тот ему на бродень – лежит на нём, на смазанном, лепёшкой серебристой.

– Не знаю, дедушка Николай, – отвечает Катерина. И улыбается. – Не зовёт пока никто чё-то.

– Шибко-то не откла-а-адывай, любезная, а то на свадьбе-то не погуляю, – говорит дедушка Николай. – А идь охота... да и как ишшо охота... последний раз хоть перед смертью покричать кому-то «хорько». – Вынул плюшевый, красный когда-то, теперь бордовый, как свёкла, засаленный кисет, развязал его, на Катерину слёзно глядя, набивает табаком трубку, наминает его жёлто-зелёным от никотина большим пальцем. – У вас идь день за год, милая, а у нас, девка, год за день, – говорит. – Парней-то много холостых вон... ну дык. Нутром гудят, слышно, проходят мимо-то... быки быками... ну и ладно... жись-то на том она и зыблется – на мощчи.

– Пусть гудят, – говорит Катерина. И говорит: – Деда, ты есть-то хочешь?... Я тебе кашу там сварила.

– Да не-е, я сытый, – отвечает *деда*. – До отвороту с черемшой молоденькой картошки-то намаляся... Вот ежлив б выпить ты нашла маленько нам, тогда бы это...

– Не, деда, выпить не найду. Нет у меня ничего, – говорит Катерина. – Откуда? Бражки от Вовкиных проводи́н маленько оставалось, вы ж на Девятое её и выпили.

– Жалко... Запасу-то мы не храним, – говорит Игнат Иванович; заскучал как-то сразу, к ельнику глазами обратился, повис ими на ельнике.

– Да-а, – говорит Николай Ефимович. – У нас оно, как в мочевом пузыре, долго не дёржится пошто-то – бытто само куда-то и уходит. Не по-хозяйски. – И говорит: – Эх, подоспеть бы умереть до Вознесенья.

– А чё ты вдруг засоби́рался? – спрашивает у него Игнат Иванович.

– Да пока там, в Раю, ворота-то для всех открыты, – отвечает Николай Ефимович, – и для таких, как я, шакалов.

– Ну, я пошла, – говорит Катерина.

– Тупай, – говорит Игнат Иванович, не отрываясь от ельника взглядом, будто поджидая оттуда кого-то. – Оно уж где тут по-хозяйски... когда не можем.

– С Богом, родная, – говорит Николай Ефимович. – Какой денёк... Красный, как девка... Вёдро, одно тому и слово. И в шинелку-то я сёдни здря однако что обмундировался... Мясо вот сварится на мне да от костей моих отстанет – и попрусь домой шкилетом, напугаю там старуху, и помрёт до Вознесенья, а в Раю ей делать неча – шуму от неё много – как от мельницы... горлопанистая... Но вариться долго ему, мясу-то моёму, надо, правда... старое... Подюжу. Лучше уж жарко пусь, чем зябнуть. Щүрюсь от свету-то, чтоб в голове прохладней было, то в ей душно, как в конюшне.

– Соболь, – говорит Катерина.

Соболь едва хвостом лишь шевельнул, веком даже и не дрогнул – так разоспался.

– Дак как же, – сказал Игнат Иванович.

– Ну и... подумаешь, какой он, – сказала Катерина и пошла. – И оставайся.

Тут же, сразу за амбаром с малахитово-зелёной мшистой крышей, свернув со своей улицы и пройдя пустынным переулком – называют их заулками в Ялани, ну а улицы – краями, затем – околицей, мимо пёстро расположившихся на ней, шумно и тяжело, как о вселенской беде, вздыхающих и жующих задумчиво жвачку коров, потом – в уже просохшей после основ-

ного паводка старице – густым тальником поднялась Катерина по крутой, бурой от плотно устлавшей её кедровой палой хвой, тропинке и вышла на берег Кеми – высокую, подмытую за несколько последних лет веретию – точит здесь Кемь себе новое русло – река настырная – пробьётся. Подступив, села Катерина на давным-давно уже, саму по себе, от урагана ли когда, но не на памяти у Катерины, упавшую лиственницу с торчащими огромным пауком корнями. Река далеко внизу, под отвесным, рыжим яром, сверкает раздробленным в ней солнцем, шумит в затопленных кустах водою – спешит к Ислени. На другом берегу Кеми, в пойме, простёгнутый насквозь солнечными лучами, раскинулся брусничный бор с корабельными золотоствольными соснами – ветра-то нет, и кронами не покачнутся. Возвышается над бором Камень с охристыми, поросшими кое-где ольшаником, откосами – осыпями. Над Камнем, от горизонта до горизонта, протянулся кучерявый, белый след от самолёта – давно пролетел самолёт – след широко уже расплылся в небе – облако из себя теперь изображает... как ребёнок.

Тотчас и он, Чеславлев Сенька, появился, *позапятки*, что называется. Из мелкого, на жарком солнце канифолью пахнущего пихтача тихонько выбрался, подступил, стараясь не шуршать сухой травой, сзади. Слышит его Катерина, не сомневается, что это он, но не оглядывается, в кемской излучине глазами будто растворилась. Перепрыгнул Сенька через толстую лиственницу-валёжину, встал перед Катериной. Русоволос, коротко стрижен. Строен. *Смахиват*, как говорят здесь, *малёхо* на актёра Ланового. В красной клетчатой рубашке, с засученными до локтей рукавами. На ногах болотные сапоги с низко завернутыми голенищами; был у воды, наверное, помыл их, сапоги-то, – чистые, уже обсохли. Лицо и руки загоревшие. Как и условились, не опоздал. Преподнёс маленький букет жёлтых подснежников Катерине. Взяла та цветы, держит их в ладони, как свечку, смотрит на Сеньку и улыбается ему, как дню погожему, продолжительно. Подсел Сенька к ней рядом, обнял её за плечи. Не отстраняется Катерина – приручил уже за месяц – как себе, ему доверилась. Сенька добрый и красивый – и не ей одной так кажется, конечно, многим девчонкам Сенька нравится, и здесь, в Ялани, и там, где учится, а учится он в Елисейском педагогическом институте, на филологическом факультете, заканчивает последний курс, в Ялань к родителям на выходные приезжает: очень уж хорошо поёт он и играет на гитаре, и не наглый, как другие, и не нудный, а весёлый, – ну а ей вот только повезло-то, Катерине, отчего и сердце у неё колотится – как у котёнка.

Солнечно. Безоблачно. Безветренно. Небозём клубится, будто кипятится: отнимает небо у земли, напитанной сверх меры, влагу, вернёт её дождём после – если ко времени-то, ладно, а если нет... но тут уж как Бог даст.

За Бобровкой, таёжной, родниковой и, на самом деле, много где перегороженной бобрами речкой, чуть выше этого яра перекастисто впадающей в Кемь, надрывается бензопила – успевает кто-то – заготавливает, пока листва не распустилась и от неё в лесу не стало глухо, на зиму дрова в березнике. Кричат где-то мальчишки: то «аут!», то «не куйся!» – на песке в футбол, наверное, играют. Едет – гудит одиноко, но не скучно – по тракту мотоцикл – слышно его только тогда, когда пила перестаёт работать; одноцилиндровый; в Ялань едет и, по гуду судя, не торопится.

Постоит такое тепло ещё сколько-то, не заненасит, и начнутся в тайге пожары, всё кругом затянет жёлтым, едким дымом.

Птицы туда-сюда, с ветки на ветку, с дерева на дерево, порхают – праздно снуют, будто заняться нечем им – так, глядя на них, кажется; а то и Кемь перелетают, перелетая – отражаются в реке, знают об этом – кажется и так – им, отражением своим, любят как будто; барашки, падая и блея, воздух сверлят беспрестанно – только начнёт светать, и принимаются; земли по-асовски не достигая, в падении затормозят и снова ввысь молчком взмывают, чтобы опять в пике оттуда свергнуться с любовной песней. *Кунаются* стрижи – едва касаются брюшком воды, оставляя на поверхности реки круги недолговечные, что означает: пока, в ближайшее время, погода не испортится – примета.

Налетели с гнёзд своих на Камне коршуны, стали круги и петли над Яланью вырисовывать несуетно. Хищников шесть или семь разом, не меньше, парят в небе. Нет-нет, да и прокричит какой-нибудь из них сверху неожиданно для хищника жалобно: пи-и-ить! – и на самом деле пить как будто просит – та-ак протяжно; опустись и удовольсья: столько вон её, воды-то, хоть запейся. И другой ему, слышно, вторит, и третий. Что они оттуда видят?

– Куриц моих бы там не растаскали, – заботится Катерина. И глядит на птиц из-под ладони в поднебесье. – Понависли над деревней... Выискивают.

– Я уже брожу тут больше часу, – будто обиженно, склоняясь и заглядывая в бирюзовые глаза подружке, говорит шутливо Сенька. – На берёзу уж залазил.

– На берёзу-то зачем?

– Чтоб тебя с неё увидеть.

– И увидел?

– И увидел... К тальнику уж подходила.

– Как договаривались, так я и пришла, – говорит Катерина. – Ровно в час, чуть даже раньше.

– Да дожждаться было трудно, – говорит весело Сенька. – Ждать и догонять хуже всего.

– Ну, ведь дождался, – говорит Катерина.

Вынырнула из пихтача рыжая, башкастая ронжа, беспокойно приткнулась на нижнем сухом суку толстого и высокого, к Кеми накренившегося, кедра, беззлобно потрещала, чёрным хвостом трясая, на сидящих рядышком людей и подалась куда-то, спичкой горячей юрко шмыгая между деревьями, – не подпалила бы – с таким-то оперением.

– Поступать куда надумала? – спрашивает Сенька. – Или так пока и не решила?

– Да куда мне поступать, – говорит Катерина. – Дедушку-то на кого оставляю?

– Ну, куда-то ж идти надо, – говорит Сенька, целуя Катерину в солнцем пахнущую щёку. – В Ялани же не станешь оставаться.

– До октября поработаю... Пока геологи тут, – говорит Катерина. – А там видно будет.

– Поня-ятно, – говорит Сенька, о другом о чём-то думая при этом будто, и целует в губы Катерину. И целует, и целует... Отстранился и, искря глазами, смотрит на подружку, говорит: – Пойдём на наше место?

Пожав плечами, согласилась Катерина – податлива, как воск, обласканный в ладонях.

Встали они с валёжины, за руки взявшись и подминая ногами мох, медвежьи ушки и брусничник, пошли вдоль обрыва, за молодым, тёмно-зелёным, непроглядным пихтачом, по кромке яра обогнув его, исчезли: вниз спустились.

И быстро-быстро день сворачиваться начал.

И свернулся скоро в майский, тёплый вечер, а тот – череду не нарушая – в майскую ещё, но белую уже, туманную ночь.

И домой вернулась Катерина на рассвете.

Молча, погладив по сырому от туманной измороси загривку встретившего её возле ворот без лая Соболя, Катерина, пересчитав машинально сидящих на жерди под навесом куриц – в сохранности все, слава Богу, – прошла оградой к бане. Вступив в неё, положила на полок смятый и увядший уже букет подснежников и свитый из медуниц венчик. Разделась, помылась холодной водой. Накинув только платье, скомкав и зажав в руке трусы, направилась в избу. Дедушка спит в прихожей, не проснулся. Минуя скрипучие половицы, чтобы его не разбудить, вступила Катерина в комнату покойной бабушки. Вынула из игольницы иголку, вдёрнула перед окном в иголку белую нитку, села на *баушкину* кровать. Пальцы не повинуются – песку полно набито под ногтями – иглу, и ту даже не держат – так занемели. Опустив безвольно руки на колени и посмотрев на икону над мерцающей лампадкой, Катерина сказала:

– Прости меня, Господи, – закрыла глаза, посидела так, после добавила:

– И ты, баушка.

Упала ниц, лицом в подушку вмялась и заплакала в неё тихонько, как запела.
– О-и-о-и-о-и-о-и.

Было это двадцать с небольшим лет назад от нынешнего – так давно и так недавно.

* * *

Суббота. Близится к полуночи. Как кошка, мерно и на цыпочках. Неслышно – Земля бесшумно так вращается.

Сочельник.

«Благословенно Царство...».

«Иже в вертепе родивыйся и во яслех возлегай нашего ради спасения...».

А завтра:

Бог стал человеком, чтобы... рвения не имея, робко и помыслить, хоть и бремя вроде лёгкое, и иго будто благо... и чтобы стать им, человеком, в полной мере, после Он, на кресте уже, нами, кого унизился спасать от жала смерти, распятый и *оставленный* Отцом Небесным, надежду потеряв, отчаётся и горестно возопиет: «Или, Или! лама савахфани?» Господь страдал. Возможно ли такое? Но это после. А пока вот:

Он *родивыйся и возлегий*.

«Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мелхиседекову».

В действующих, пока ещё немногочисленных, как было до *великого* разору, заново открытых православных храмах старинного, острожного когда-то, в *злых и шепотных тонгусах* изначально рубленного, от *воровства* их *смутного* и беспокойного, а теперь тихого, смиренного и чуть пришибленного будто Елисейска идут праздничные службы. В иных же бывших монастырях, часовенках и церквях города – скверна запустения: склады всякой всячины, от овощей до гвоздодёров, гаражи, завод ли пивоваренный, пожарная ли часть – что в какой храм, который почему-то не разрушили безбожники воинствующие, определили при советской власти, так то там до сей поры и размещается. Но над теми и над этими сияют одинаково сейчас луна и звёзды. Звёзды ясные, лучистые. Луна белая, как известь, и с ущербом – с кромки чуть волчица выкусила острозубая; подгрызёт, повыв, и нынче ночью; и так, всю пока не сглохнет.

По улицам бревенчатого в основном, одноэтажно-двухэтажного, купеческо-мещанского, уездного когда-то, а теперь районного Елисейска прокатываются неторопно, словно внимательно осматриваясь в незнакомом месте, редкие автомобили и, подстилаясь под колёса, встречь им, в бок или вдогонку, как ей заблагорассудится в своей снежно-сыпучей стихии, пресмыкается многоязыкая, не обращающая, в отличие от законопослушных автомобилей, никакого внимания на распоряжения занудных светофоров, *хиузная*, расторопная позёмка. Тут ей, в городе, среди домов, особо-то не разгуляться – тесно; рядом вот зато просторно, на Ислени, – лёд на реке дымится от неё как будто, от позёмки, так что и днём не различить другого берега – одно лишь марево.

Лучи машинных близоруко-дальнозорких фар, дублетно продырявив и с сизифовым упорством разрезая тут же срастающийся, стылый полумрак, то вскидываясь и слепо теряясь в олунином и редкозвёздном небе, то опускаясь и скребя перед собой дорогу с полужасненным, разбитым лесовозами асфальтом, тут вдруг, на повороте, упруго упрутся в розовый кирпичный зубчатый забор, будто свалить его вдруг вознамерившись, проползут медленно по соединившим его, забор, как пряжка, чёрным металлическим воротам, отразятся мельком в стёклах окон небольшенького, кирпичного же, особняка с белеющей, как луна, над ним спутниковой, бельмом уставившейся в космос, как чьим-то ухом ли к нему направленным, антенной и соскользнут беспомощно на пустырёк; позёмка ж мимо – как крадётся.

Только в одной из шести комнат особняка горит свет, не считая тусклых ночников в прихожей и на кухне, – в спальне – из-за плотной бархатной бордовой шторы на окне, что это так, не видно с улицы: все окна в доме выглядят снаружи тёмными.

Слева и справа от широкой, составленной из двух двуспальных, кровати, в изголовье, рядом с низенькими, в уровень кровати, тумбочками, стоит по торшеру – они-то вот и светят.

В постели, под разными одеялами в одинаковых лиловых пододеяльниках, лежат муж и жена – супруги Чеславлевы.

Ирина Михайловна, крещёная татарка, с большими голубыми, под цвет наволочки, глазами и светло-русыми, густыми волосами, красивая женщина, нотариус в недавнем прошлом, ныне владелица трёх продуктовых магазинов, без очков, читает очередной детектив Марининой. Особняк построен на её, Ирины Михайловны, деньги.

Сергей Захарович заведует кадрами в Елисейской тюрьме, подполковник, в очках, читает первый том русской истории Карамзина.

Двадцать с небольшим лет назад закончил Сергей Захарович филологический факультет Елисейского педагогического института, призвался после в армию, отслужил два года младшим лейтенантом во внутренних войсках возле Норильска, демобилизовался, вернувшись в Елисейск, устроился в районо, с год поработал, отличился, заметили его из более высоких инстанций, оценили и пригласили в райком партии на идеологическую работу – вроде как массовиком-затейником – общаться с туговатым на доверие народом и убеждать его в преимуществах советской системы. А когда та, несмотря на старание агитатора, благодаря ли ему, рухнула благополучно, переместился Сергей Захарович в Елисейскую тюрьму, стал заместителем начальника, своего родного младшего брата Владимира Захаровича, отвечая за кадры, заведую ли ими. Тюрьмы-то при любом режиме существуют, так что до пенсии, и не плохой, тут можно будет дослужиться.

Работая ещё в районо, среди *образованного*, преимущественно женского, коллектива, застеснялся вдруг своего, как он говорил, деревенского имени Семён – будто бы имена, как жители, есть деревенские, есть городские, но не вселенские – и поменял его, оформив всё по правилам и по закону, на Сергея. А когда узнал об этой измене, перевоплощении ли таком, его отец, Чеславлев Захар Иванович, сказал при первой же встрече сыну, сразу его и не узнав, возможно: «Ну, заодно-то уж и отчество поправил бы, а то потом опять, поди, морока... Ты ж от Семёна Столпника Летопроводца отступился. А тот ради тебя, чужеумого, маленько не полета лет на столбе выстоял в молитве к Богу», – и в город к нему, к Сергею Захаровичу, ни разу до самой смерти не съездил, даже на внука, когда тот родился, посмотреть не пожаловал – так рассердился он, Захар Иванович, или обиделся, – но у себя-то принимал – то ли как сына, то ли как знакомого.

В доме больше никого. Тихо. Работает телевизор, но с выключенными динамиками. Идёт какой-то чикотильно-мордобойный фильм, американского, конечно, производства: беззвучно, но высокохудожественно складываются один на другой или накалываются на всяческие штыри окровавленные, как фартук резника, трупы на заброшенном как будто, но, вместе с тем, не остановленном почему-то сталелитейном заводе, и резво бегают, прыгают или акробатически висят до очередного ловкого манёвра на разных цепях или механизмах ещё живые, и где среди них положительный парень, понять можно по лицу – на нём проставлено: изготовлено здесь, в USA – на зависть городу и миру. Чудно смотреть на это в Елисейске.

Сергей Захарович, запомнив страницу и номер главы, на которых приостановил временно, до следующего свободного вечера, своё мысленное путешествие по непростой древней русской истории, закрыл книгу, отложил её на тумбочку, снял очки, устроил их на книгу. Взял с тумбочки пульт и выключил телевизор. Полежал сколько-то, раздумывая о своём, а после:

– Зашёл сегодня утром к Женьке в комнату... неряха... штаны как снял, так на полу прямо и бросил... устроил там бомжатник настоящий... поднял, стал их на спинку стула

весить, – говорит Сергей Захарович, убрав на тумбочку пульт и массируя указательными пальцами уставшие глаза, – что из кармана, знаешь, выпало?

Ирина Михайловна дочитывает страницу. Дочитала, перелистнула, но ничего мужу не отвечает.

– Презерватив, – говорит Сергей Захарович.

Молчит Ирина Михайловна.

– Слышишь? – спрашивает Сергей Захарович; смотрит он, широко раскрыв глаза, на потолок, как будто трещину на нём увидел.

– Я думала, бомбу... Парню, слава Богу, восемнадцать лет, – говорит, не отвлекаясь от чтения, Ирина Михайловна. – Ты к этому возрасту минимум года два уже, наверное, как кобел провал. И не наверное, а точно.

– И где он, кстати, ещё шляется?.. Скоро уж час.

– А ты всё дома и сидел?

– Ты на меня не перекидывай. Тогда другое дело было, и в деревне... Зря ты его отмазала от армии.

– Ты бы хотел, чтобы туда-а-а его забрали.

– Ну не всех же туда отправляют... Чё ты несёшь.

– Всех не всех. А нашего бы точно.

– И порошок ещё какой-то.

Молчит Ирина Михайловна. Молчит и Сергей Захарович.

– Какой порошок? – через какое-то время спрашивает жена.

– В пакетике... в кармане, в его джинсах, – отвечает муж ей, но не сразу.

Повернулся Сергей Захарович набок, лицом к стене, на которой висит выжженная им, увлекался пылко ещё в юности, по кедровой доске работа «Венера и Адонис», Адонис походит на актёра Василия Ланового, а Венера – на Голубеву Катерину, выключил торшер, стал пробовать уснуть.

Отложила книгу и Ирина Михайловна, повернулась набок, лицом к другой стене, на которой висит картина местного примитивиста Животова с видом зимнего, украшенного разноцветными храмами Елисейска, приобретённая ею, Ириной Михайловной, незадолго до смерти художника.

Щёлкнул мягко выключатель, и в спальне стало темно, как в могиле.

* * *

Зима. И месяца ещё, студёная, не догуляла, если по старому примериться к ней стилю. Только что началась, считай, или, как говорят в Ялани, стала. Но это – календарно. Ну а по стуже-то – уже и надоела – с октября тянется, чуть ли не с самого Покрова, когда *лешие* *скрозь землю провалились*, – так бы могла сказать Фиста Егоровна Усольцева, давно, больше двадцати лет уже, как покойная, бабушка Катерины, так вот она и говорила: мол, за день – за два до Покрова лешие сквозь землю проваливаются, туда им, дескать, и дорога, *ишиш* подальше бы куда их заметнуло, окаянных, и не жалко, да для людей нужна острастка. Так вот. Без оттепелей. Крепко. Гулко. И сколько так ещё продлится – бывает тут, что и до мая не расстанешься с тулупом, разве на телогрейку его сменишь, ну а уж в той – до самого июля. Сибирь, на то она и *каторжанская*.

Усень топор нашёл, сосну срубил и мосток уже для трёх братьев намости́л, так и пора бы: Навечерие Рождества Христова.

Палестина. Вифлеем. Долина пастухов. Камни, масличные деревья. На другой планете словно. Там сейчас тепло, наверное.

А здесь:

Мороз – по местным меркам, правда, небольшой – градусов двадцать пять – всего-то. Но вот – *хиуз-северяка*. Задержись где на улице да на сквозном ещё, открытом месте, хоть и одет будешь не *легкомысленно*, проберёт тебя до косточек, до самого хребта просвищет, кожу сдерёт с лица, как тёркой, если шарфом-то не укроешься. Хиуз – не шутка, что тут ещё скажешь.

Ельник вокруг Ялани. Рослый. Вековелый. Чесноком острожным будто, огорожена она им. От чего ли, от кого ли. От мира, может быть, а может – от Пространства. Не от *злых* же и *шебутных тонгузов* – те давно уже смирились.

Освещён луной ельник. В вершинах инеем искрится, будто блёстками обсыпан новогодними. Тихий, загадочный. И манит, и пугает. Больше, наверное, того, кто русских сказок в детстве читался или наслушался. Бабой Ягой и Серым Волком. Медведь, тот, слава Богу, спит сейчас в берлоге, лапу свою лохматую посасывая, и сны про лето, наверное, видит.

Весь снег с елей, ветви им, словно хвосты кобылам, растрепав, сдул ветер – будут стоять теперь, до следующего снегопада, чистые – как звёзды.

Простригший ельник, словно лист древесный гусеница, Старо-Елисейский тракт, тщательно наглаженный *дородловскими* грейдерами и накатанный до блеска лесовозами, от луны как будто маслянится; пустынный – если до утра пройдут тут по нему, через Ялань, ещё две-три машины, это много.

Под снежными, освещёнными луной, шапками темнеют стенами редко теперь – в отличие от недалёкого ещё прошлого, при МТС, когда место, чтобы поставить на нём новую избу, в селе найти было непросто, – стоящие дома. Мало в каком светится оконце и из трубы печной курится дымок. Многие из них давно уже осиротели, догнивают. А некоторые совсем недавно обезлюдели, даже бичи ещё в них поселиться не успели; один дом загадят, в другой переберутся, как воробы в чужие гнёзда, пообитают сколько-то, а после и спялят, *по пьянке беспробудной*, а заодно сгорят и сами – дело худое, но обычное, помилуй, Господи.

То тут, то там торчат прямо или косо из сугробов столбы – от развалившихся дворов, верей ли без полотенец и надвратниц – от крепких когда-то, на века ставленных, ворот.

Сохранившиеся от церкви стены только на фоне неба звёздного и ельника и различимы – как привидение на белом. *Престол находится там и поныне* – вечен. Хоть и поруган.

Мечется по Ялани вертлявая, как ласка, и кусачая, как горноста́й, позёмка. Вылизывает старательно лога и косогоры. В огородах, ловко юркнув под нижние жерди изгородей, проникает, там выползками разгуливает. Помешать ей сунуть везде свой нос теперь тут, без ранешних глухих заплотов, нечему особо. И собаки от неё, куда смогли, попрятались. Что-то не видно ни одной нигде, не слышно. Обычно же всю ночь напролёт из угла в угол пробрежут, налаются до хрипоты, после уж, днём, и отсыпятся, если бежать с утра какой куда не надо за своим хозяином.

На угоре, на самой его маковке округлой – сейчас трубой печной луны чуть не касается – стоит на отшибе большой *листвяжный* пятистенник. Под тёсовой четырёхскатной крышей. С резными, *расчудесными*, наличниками и карнизом. Если днём его увидеть – буро-коричневый от возраста. Голубевой Катерины. Одиноко она управляется с ним теперь, после того, как сына в армию призвали, как-то обходится. Крепкий дом от времени немного скособо́чило. Просел на заднюю, глухую, северную стену – будто от лога отшатнулся, как скакавшая галопом и остановившаяся перед обрывом резко лошадь. Так вот и кажется, что в небо, запрокинувшись, уставился он, словно углядел что-то удивительное.

Катерина на кухне. Опару заводит. Собралась завтра, раным-рано *утре́чком*, на праздник булочек с вареньями – малиновым, черничным и брусничным – постряпать. Давно уж сдобы ей хотелось. В пост пока и чёрным хлебом, *оржаным*, довольствовалась.

Крытый синей клетчатой клеёнкой стол, он же и курятник. Сидят в нём на шесте, одна к другой плотно, как чётки на шнурке, будто нарочно кем-то сдвинутые, куры рябы. Нахотились. Притихли. Дремлют. Среди них, с левого краю – там ему особо, значит, нравится –

устроился белый петух с большим, вислым гребнем и *малиновой* бородкой. В корытце перед курятником желтеют редко зёрна проса – днём ещё, наверное, не доклевали.

Склонилась Катерина, приподняв клеёнку, поглядела на сонных птиц.

– Спите, клуши? Ну и спите, – говорит им. – Утром сбегая к Осеихе, пшеницею маленько, может, выручусь. Есть-то, дак даст... А молоком с ней рассчитаюсь. Буду в день давать по литре, ей и хватит... Опять насрали-то... только и дела... Даст, поди, а чё не даст-то?

Налила кружкой в корытце воды. Отошла от стола-курятника. Поставила на русскую печь дежу, шалью там, на печи уже, её укутала – так теплее будет тесту, а иначе не поднимется.

– Ну, девка, с Богом... Пусть уж вкусными бы получились... как у баушки раньше... пышными, – сама с собой разговаривает Катерина. – Ох, Господи, – говорит. И вздыхает – вспомнилось-то.

Заглянула, приоткрыв дверцу, в печку. Подбросила в неё два берёзовых, суковатых – для жару – полена. Проточили мыши завалинку осенью, не досмотрела – выстужает в доме из подполья. Тянет в щели между плахами и из углов. Из-за чего везде половиков, дорожек, как их называют здесь, в Ялани, настелила. Ещё ж и к празднику – цветасто. У двери и у кровати по коврику самотканому бросила – в избах сразу и завеселело.

Как в музее этом, в Армитаже – как она, кума, только не скажет.

Сняла с себя фартук Катерина, повесила его на крюк, прочно привинченный шурупами к боковой стенке посудного шкафа. Ещё дед Игнат, Царство Небесное, прикручивал когда-то этот крюк. Двенадцать лет уже как упокоился. Трёх дней не дожил до своего столетия. И умер просто: попил вечером простого кипятку, чтобы только *мороз прогнать из вязкокровных нутренностей*, вынул трубку из кармана, туго табаком её набил привычно, раскурить было собрался, но передумал вдруг почему-то, лёг на кровать, уснул – и больше не проснулся – будто уехал, себя мёртвого, себе уже ненужного, оставив Катерине. И шкаф-то он, Игнат Иванович, когда-то смастерил. Солидный. Пол под ним со временем прогнулся – тяжёлый – как сердце.

Вышла в прихожую, подступила к окну. Шторки раздвинула руками. Запорошено окно с улицы – стёкла от приставших к ним снежинок дробно золотятся, – но разглядеть в него всё можно. Глаза от бликов заслонив ладонью, вглядывается. Нигде ни огонька. Ни человека. Только за последние двадцать лет сколько людей из Ялани, побросав дома здесь, переселилось в город, став при этом сразу *городчанами*. Страшно смотреть. Тоска стесняет душу. И Луна ещё. Тревожит. Всё везде осеребрила – так к Земле равнодушна – ну ещё бы: походи-ка вокруг вечность. Фиста Егоровна сказала бы: *рассветилась-то – хоть в пролуби её топн... ага, как ланпа, и у сии тут – скрозь и веки*.

Прошла Катерина в *баушкину* комнату. И тут она опять, луна – раму оконную на полу отпечатала косо – крестом отметилась восьмиконечным. Лампадка светит жертвой Богу – огоньк в ней тонко и жёлто, как загнётная травина, вытянулся, покачивается плавно, убаюкивая тени, не давая им вздремнуть ли. Святые – тихие. Господь – страдает.

– Вот, баушка, – говорит Катерина, – и Рождество. Время-то, время... вроде бы и незаметно. Уж и любила этот праздник ты... и Пасху. Ну дак а как их не любить-то, если заглавные, – сама так говорил а... В белый платочек завтра нарядилась бы. Как будто вижу. Царство Небесное тебе, родная, упокой, Господи, твою душу.

Поправила на кровати подушки, разгладила на ней покрывало. Вышла из бабушкиной комнаты. Стоит посреди прихожей, как застыла, в пол смотрит рассеянно; хотела сделать что-то, взять ли, и не вспомнит.

В дверь постучали.

– Входите, – говорит, повысив голос, Катерина. – Не заперто.

Вступил в избу Ваня Чуруксаев, пропустив вперёд себя околевшую и заскучавшую в сенях, а потому, пожалуй, и нетерпеливую такую, изморозь. Клубом ворвавшись, кинулась та

в ноги Катерине, улеглась, укутав их собой, и тотчас же исчезла – будто и не было – такое вот фиגлярство.

– У-у, – на неё, поёжившись, сказала Катерина.

Калека Ваня. Несколько лет назад, встретив радушно Новый год с денатуратом и с тройным одеколоном, уснул без памяти в сугробе и отморозил себе руки – отняли их ему по запястьям. Вот и живёт теперь безруко. И двери так, культями, открывает. А где калитка с ремешком, так и зубами управляется. Многое ими, *обрубками*, делать уже приловчился. Летом, на рыбалке, сам как-то, без посторонней помощи, и червяка на крючок наживляет, и рыбу с крючка снимает. «Рисовать ими, – грозитя, – научусь, тогда и пить брошу... Всех вас пере-рисую». – «Не за большим делом, Ваня», – говорят ему на это его слушатели. А иные из них добавляют: «Ну, скорее бы уж, чё ли, научился... посмотреть бы на тебя, на трезвого-то... так охота».

Ровесники они с Катериной. И одноклассники бывшие. Десять лет вместе проучились.

Курить и выпивать Ваня, под робкий ропот печальной, будто подавленной всегда какой-то кручиной, хворью ли, матери и благосклонное отношение к этому начинанию его весёлого вечно отца, оба родителя теперь уже на кладбище, *взялся с молоду*, ещё и школы не закончив, с тех пор и не перестаёт. Устал, нет ли, не признаётся.

Тихий, медлительный, спокойный, как бы и какой *поганью ни напотчевался*, внешне не безумствует, бесчинств не устраивает, ни к кому не пристаёт, мимо людей, как тень, проходит, и его никто, как тень, не трогает. Говорит Ваня только чуть больше, когда пьяный. По природе-то молчун он – как дерево – ветру только отвечает то да топору – и он вот – смирный.

Были ли у него когда женщины, не было ли, неизвестно, но женат он не был и никогда ни с какой в Ялани не сожительствовал, это уж доподлинно все знают.

– Здорово, – говорит Ваня. Чёрные валенки на нём позёмкой снизу убелёны – не обмелал он их при входе, так только, обколотил немного, попинав ногами крылечко, – как заплесневели. Шапка на нём серая, кроличья. Пообтрепалась, до плешин обшоркалась местами. «С барской башки», – говорит Ваня: подарок зятя, в семье которого перебивается теперь он иждивенцем. Не снимает её Ваня: долго гостить не собирается, похоже. Телогрейка стёганая ватная застёгнута на одну нижнюю пуговицу и висит на нём, на Ване, как на вешалке, свободно; под телогрейкой только майка: *закалённый*. «Кость не стынет, – говорит он, вязко улыбаясь. И говорит: – И содержимое во мне не заморозить... спирт-то». «Упитанный», – называют его молодые в шутку, ровня: «Ваня», а старухи: «Доходяга».

– Здравствуй, Ваня, – говорит Катерина. – Проходи, присаживайся. Хоть на стул вон, хоть на табуретку. Я и не слышала, как ты воротами там стукнул.

– Не-а, некогда, – говорит Ваня.

– Чем ты так занят? – спрашивает его Катерина.

– Кино пойду смотреть по телевизору.

– А тут к кому ты... в этом околотке?

– К бичихе... к Вале.

– И давно у Вали телевизор?

– Да нет... Обнова: Миша Бармин переезжал, отнёс ей свой старый, по соседству, так, просто выбросить-то, жалко... В городе новый себе купит. А у тебя-то нет?

– Есть, да сломался, – говорит Катерина, кивая головой на дверь в горницу. – Убрала, чтобы бельмом-то тут не паялился. Включишь, засветится полоской. Мастера вызвать – денег много стоит, а везти туда – просить кого-то надо – по пустякам-то к людям приставать не хочется.

– Смотрю, что тихо, – говорит Ваня. – Не бубнит... Восьмая серия, последняя... Так, мимо брёл, дак... Ты меня не опохмелишь? – спрашивает Ваня. Глядит он на Катерину равнодушно, не заискивая, глаза у него жёлто-зелёные, как махорка, и, как махорка же, в крошку-

так кажется, когда встречаешься с ним, с Ваней, взглядом. Губы его, когда он говорит, почти немые, и рот при этом, кажется, не раскрывает, слова из него, как из медного быка, глухо доносятся, но кто привык-то, разбирает.

– Нечем, – говорит Катерина, со спокойной душой сегодня, до праздника, утаивая от Вани о созревшем на русской печи и переставленном уже на прохладный пол на кухне кануне в лагушке, рябиновой бражке. – Была поллитра, отдала – фермер вчерась зашёл, аванс потребовал: сено, зарод, мне обещался вывезти. Не знаю, сдержит слово, нет ли?.. Ну а не дать – откажется и не поедет. Чаем могу вот напоить.

– Да не-е-а, – говорит, слова растягивая, как резиновые лямки, Ваня. – Чаю я и у себя наглотаюсь. Воды хватает – река-то недалёко. Нынче... бродил уже по снегу... шипнягу набрал капроново ведёрко... с моими-то цапками неподатно... Подмороженный... Ничё, подсох вроде... Шипо-овный. Вкусный... Чё-то распробовал, дак нравится. Одно худо, чифирь с него не получатся.

– Да и полезнее, чем покупной-то, – говорит Катерина. – Чего там только не насыпят, то и опилки... чуть подкрасят. Ну, молока тогда налью... А может, будешь простокишу?.. Той у меня полно уж накопилось, ставить негде. Телёнок всю не выпиват, куда девать, уже не знаю. Да и с собой тебе могу дать литру. Банку потом вернёшь мне только.

– Не-е-а, – говорит Ваня. – Мне молосное не по желудку. Пробежат наскрозь, будто по шлангу. Ну, может, курево где завалилось?

– Да курево-то у меня, Ваня, откуда? – говорит Катерина. – Не курящая.

– Да так, оставил, может, кто... Предположил... А хлеба мне не одолжишь?

– Кому тут оставлять?.. Хлеба вот одолжу, – как будто радуется Катерина. – Сама стряпала, не магазинный.

– Дак ещё лучше, – говорит Ваня. И говорит: – День полежит тот, магазинный, и зачерствит... хоть гвозди им после, станет, заколачивай.

Пошла Катерина на кухню, достала из шкафа буханку *оржаного* хлеба, отрушила ножом половину, вернулась в прихожую, сунула хлеб Ване под мышку.

– Спасибо, – говорит Ваня. – Пойду я.

– С Богом, – говорит Катерина. – И ангела тебе в хранители.

– Да от кого тут?.. От собак-то.

– Так говорится. Приходи завтра, я утром сдобы напеку... Муки маленько оставалось белой, ну и надумала... чё ей храниться.

– Не шибко пьяный буду, дак зайду, – говорит Ваня. Помолчал сколько-то, в раздумье будто, продолжает: – Зайду, наверное. Похоже, не с чего и негде... случайно разве. Твой телевизор погляжу. Может, и почию, если получится. Там, может, лампа... раз полоска-то... отошла. До свиданья, – говорит. – До завтра, может, – сказал, плечом на дверь навалился, от притолоки с хрустом оторвал её, открыл и вышел, впусив в избу опять клуб расторопной, пронырливой изморози – ждать той терпения хватает.

– До свиданья, до свиданья, – сама с собой уже, стоя на том же месте, разговаривает Катерина. – Помилуй, Господи, нас, грешных... Ваня сочувственный такой... А потому и пьёт-то, может... Хотела сделать чё-то, и не помню.

Села было выстиранный, вымороженный и днём отглаженный уже, в едва заметный теперь, когда-то синий, скорее всего, горошек пододеяльник ситцевый заштопать – обветшал тот, проносился, – как опять в дверь постучали.

На этот раз – Татьяна Земляных. Женщина лет пятидесяти – пятидесяти пяти. Полная, круглолицая. Не чалдонка. Родители её *по стольпинской* из Белоруссии приехали. Она-то здесь уж родилась, уже – *чевошница*. Тепло одета – в серую пуховую шаль и в белый дублённый бараний полшубок. Тяжело, шумно дышит – как в возмущении.

За порог переступила, дверь только за собой прихлопнула и говорит:

– Ох, тошно мне... Пока дошла, и запыхалась... Еле-еле душа в теле... К тебе можно?
– Чё нельзя-то? Можно, можно, – говорит Катерина, вставая со стула и откладывая на стол рукоделье. – Думаю, Ваня там воротами-то брякнул, уходил. Ты с ним не встретишься?

– Да как не встретишься... В воротах прямо и столкнулись лбами. Чё, заходил опохмелиться?

– Ну дак а чё ещё.

– Ну, девка, здравствуй.

– Здравствуй, здравствуй. Проходи, располагайся.

– Ох, ты, лихо одноглазое! Гудит на улице – поземицу-то гонит, – говорит Татьяна. – Схожу, думаю, навещу Катерину, а то давненько не была уж. И мой, до праздника не дотерпел, напился, дрыхнет, едва тёплый. Светло на улице, идти-то ладно. Жива ты тут, здорова, нет ли?

– Ну, – говорит Катерина. – И хорошо, что пришла. Жива-здорова, чё мне будет, кума... молитвами твоими. С кем он, Егор-то твой, напился?

– Да с кем, с кем, с тёзкой со своим, с кем же ещё-то... с Готей Белошапкиным, – всё ещё не отдышавшись, говорит Татьяна. – Друг-то у нас один ведь закадычный. Не дружим с путными, не интересно. Как где сомкнулись, так и понеслось... с кручи на санках. Вихры обоим бы и накрутила... Пришёл. Слышу, что в сениях шарится. А я уж знаю, что хороший: трезвый-то сразу дверь находит, а тут... «ау» лишь не кричит. В избу ввалился, zenки свои, как окунь, растопырил, шапку снял и говорит мне: здравствуйте, тётенька, а кто, мол, ты такая?!. И смех и грех. Здорово, говорю. Чуть поддала, намяла ему кости – удовольилась... когда опомнится, с ним уж не сладишь. Спьяну-то ни меня, ни дом свой не признал – дверь-то, блудил, искал пока, дак и забыл всё. Вот до чего понаберутся. Ты, девка, слышала, письмо от Ваньки получила?

– Получила, получила, – глазами сразу, будто вспыхнули, зарадовалась Катерина. – Перед Новым ещё годом.

– Вот оно чё!.. И не пришла и не сказала, – сетует гостя.

– Да я к себе тебя всё поджидала, – оправдывается хозяйка. Смущённая. – На Рождество-то, думаю, зайдёшь, дак я... и бражки выпьем по стаканчику... и почитаю.

– Горе моё, хоть рюмку бы осилила, – смеётся Татьяна. Щёки у неё, с улицы-то, розовые, глаза обычно серые, а тут, на розовом, заголубели. – А то ещё и по стаканчику.

– Завтра, – говорит Катерина. – Сёдни уж не будем.

– Удивила. По стаканчику-то, дак тебе Егора с Готей надо приглашать... или вон Ваню. Им – и по десять – много не покажется. Подмогут. Пока не свалятся, и не отступят... Ну и чё он, крестничек мой, пишет? – спрашивает Татьяна, расстёгивая пуговицы полушубка и распахивая полы. – Жарко уже – в избе-то... натопила. Прочитай-ка.

Сходила Катерина в *баушкину* комнату, достала там из ящика комода письмо. Возле стола в прихожей села, письмо из конверта вынула, лист – в линейку, из школьной тетради – развернула аккуратно и, отстранив его от глаз подальше и сощурившись, читает:

– Здравствуй, моя дорогая и любимая мама. Пишет тебе сын твой Иван. Сначала поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством Христовым и желаю тебе много счастья, радости и долгих лет жизни, и чтоб в Новом году сбылись все твои мечты и было всё путём. Служить я попал в Бурятскую республику, в город Кяхта, в десантные войска. Служба идёт, как и должна идти. Сейчас нахожусь в наряде по роте, все спят, уже ночь, а мне не положено, так что времени свободного много, вот сижу и пишу тебе письмо. Ну, чего о себе сообщить, пока вроде и нечего, не так уж много прослужил, а то, что долго не писал, так то времени не хватало, то было не до писем, за что, конечно, извиняюсь. Ну ладно, о себе в другой раз напишу поподробней. А как у тебя дела идут, как в Ялани, всё, наверное, по-прежнему? Какая стоит погода? Здесь так себе, потеплей, чем у нас, немножко, снега почти нет, по сравнению с Яланью, можно сказать, и совсем его нет. Не замечу, как и весна придёт, а за нею и лето. Трудно представить, что летом буду не дома, как это так, понять не могу. Но ничего, на это лето не получится, получится

на другое, и картошку с тобой посадим, и сено поставим, как всегда. И на рыбалку похожу, покормлю тебя рыбой. Как дядя Володя, как мой братан Витька? Привет им большой от меня. И Васске и Анютке. Привет крёсне. Как она там? Как дядя Егор? Есть ли кто новые в деревне, или так всё ещё никто к нам и не едет, так старики одни лишь и остались? Пиши обо всём и подробнее, я буду ждать твои письма. Фотографии пока нет, а так бы выслал, но как будет, обязательно отправлю. Ну вот и всё, до встречи. Люблю. Целую. Твой сын Иван. Пиши по новому теперь адресу, не на учебку: Бурятская респ., г. Кяхта-3, в/ч 54433 «Я», Голублеву Ивану. Да, чуть не забыл. Привет тебе от Васьки Усольцева. Из наших мы тут только с ним. Койки наши стоят рядом, через тумбочку. По «гражданке» Васька скучает, а по Ялани не очень. А чё там делать, говорит. Ну, до свиданья. Жду ответа.

Прочитала.

Молчат обе – будто где-то происходит что-то, и – прислушиваются.

– Вот, – произносит после Катерина. – С ним там и Васька. Не один. Вдвоём всё же. Еде друг за дружку и заступятся. То эта... как её там... дедовщина. – Лист на стол, не складывая и в конверт его пока не засовывая, положила; руку сверху – как на сердце. И говорит: – Кума, а Кяхта далеко?.. Теперь воюют-то везде, с ума как будто посходили... Помилуй, Господи, спаси и сохрани, – перекрестилась.

– Ну, далеко, в Бурятии-то если... Бог даст, дотуда не докатится, – тоже перекрестившись, говорит Татьяна. – Около дома разве служба... Дом и собака сторожит... А тут-то долг иди, чё поделаешь...

– Он и про горе-то ещё не знает наше – привет-то им передаёт. Писать ему, не писать ли пока? – плечами пожимает Катерина. – Там и без этого, поди, ему не сладко... разогорчится.

– Не знаю, чё и посоветовать?

– А я, забыла тебе рассказать, сон же тут видела, перед письмом-то. Сижу я дома будто, и – стучатся. Заходите – тебе вот будто – отвечаю. Входят Володя и племянник. И будто рада им, не удивляюсь. В руках у обоих по венику берёзовому и по ушату. Бельё в ушатах, всё в крови – вроде и ладно. И будто спрашивает у меня Володя: где, мол, твой Ванька, Катерина? – стро-ого – как будто Ваня в чём-то провинился. Спит, говорю. Буди, мол, в баню мы с ним собирались, вчера ещё договорились. Дак не суббота же, какая, дескать, баня!.. Ну, мол, и чё, что не суббота, помыться никогда, дескать, не грех. Я им, ступайте, говорю, а Ваня после подойдёт, мол. Ушли, а я сижу будто и думаю, их же медведица, мол, задрала, куда же Ваню к ним отправлю?

– Ну дак и чё, ты к ним Ивана-то туда послала? – обеспокоилась Татьяна. – Пошёл он, нет ли?

– А я к кровати-то его как будто подошла, – говорит Катерина, – смотрю, под одеялом никого – в ней только вмятина, в его постели... пусто. Ага. И вроде чё там – сон, а места вот себе не нахожу... не знаю, чё... из рук всё валится пошто-то.

– Ну, девка, баня – это плохо, сама знашь, звали-то за собой покойники – совсем худо, а вот то, что не отправился он туда, к ним, за ними ли, Иван-то, и не знаю, – говорит Татьяна. И говорит: – Светка-то вроде, видели, с Андрюхой Сотниковым уж гулят... Сон-то не к этому ли, девка?

– Да ну, болтают, поди, люди, – говорит Катерина.

– Да чё болтают, – возражает ей Татьяна. – Зря-то такое разве скажут.

Обе поплакали – как подышали.

Молчат.

– Дак ты бы, может, как похлопотала, – говорит после гостя. – Кормилец-то единственный, а, может, и отпустят?

– Да чё поеду я, людей-то стану беспокоить. Путём-то если всё, Бог сохранит, дак и вернётся.

– Бог-то Бог, да сам будь не плох... И тебе самой похлопотать бы не мешало. Отпустят, может? Отпускают... Ага. А чё пришла-то я, ты соли мне не дашь... хоть с ложку. На завтра суп варю, бульон поставила, а соли, сунулась, и нет. И в магазине завтра выходной. Куплю, откроется, отдам. Да мне щепотку. Господи, помог бы крестничку... время такое... Господи, помилуй.

Дала Катерина Татьяне соли, ушла та – беспокоится: её, мужик-то, спит, проследить некому, бульон бы не уплыл там.

Подалась Катерина в *баушкину* комнату. На коврик опустилась, стоит на коленях.

Молиться стала:

– Завтра Ты родишься, Милостивый Судия. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, спаси и сохрани раба Твоего, сына моего Ивана, воина, молитв ради Пречистой Богородицы и всех святых.

Помолилась, в горницу вернулась. Села под лампочку, чтобы заплаканным глазам видеть легче было.

Пододеяльник починила.

– Весь уж, как ветошь... обтрепался.

Бельё выглаженное разложила по ящикам комода.

Спать пошла.

Вслух прочитала «Отче наш».

Постель расправила, легла.

Не засыпала долго-долго.

* * *

Отче наш, Иже еси на небесех!.. – мать сейчас, наверное, об этом. Не – наверное, а – точно. Пояс часовой – если учесть, перевести – и получается. Встаёт ни свет ни заря, пяти нет, а она уже на ногах, и спать рано укладывается. Как дневная птица – напевшись и налетавшись. Легла уже, отправится ли скоро в кровать, помолившись. Перед праздником – так, может быть, и запозднит. Обычно. Когда не выспится – *давление* – болеет. Под большим секретом будто – шёпотом: чтобы меня не разбудить – привычка. Сколько себя помню. Не всегда же спишь, и притворяешься нередко – чтобы не помешать... *Царствие Твоё*... Громко и ни к чему: в душе – зычно. Как в тайге, в распадке, гулким предрассветным утром: белка по кедру прошуршит – и оглушительно... Или по насту горностаи – далеко, гулко разносится... Ходит по дому – места себе не находит, ну и: *из рук всё сё дни валится пошто-то*, – сидит с задельем ли каким? Ближе к лампочке, где светлее, – под ней прямо; сетует: тускло. *Совсем слепая сделалась... нитку никак в ушко не вдену*. Ну, так и возраст: старая – сорок уж... с лишним. Вернусь когда... если вернусь... Господи, сделай так, чтобы вернулся... вовсе состарится... тоскливо. Взвар и кутья – готовы. Накануне. Взвар-то вряд ли – денег нынче на него не хватит. Бражка. Рябиновка – её, рябины, в сентябре ещё писала, много нынче уродилось – к лютой зиме ли, путаю, к глубокому ли снегу?... Зайдёт кто если – угостить. Сама: *ну, рюмки три за всю-то жизнь разве и выпила, не боле; её и на дух мне не надо* — дескать... *как её, горечь эту, люди только пьют?..* Там. Далеко. Как в недоступном. Рыба так берег видит, плясь из воды, как я Ялань отсюда вижу, – может быть, так... *Тогда возложат на алтарь Твой тельцы*... – об этом тоже. И о живых, и о покойных... как там она... *всех сродников от веку*. И обо мне – как он, земляк и одноклассник мой, ещё и родственник дальний, Усольцев Васька, говорит – конкретно. Дальше уж некуда. Конкретнее куда уж. С утра до вечера. И – сон прервётся – среди ночи. Ночью не шёпотом – уж молча. Как ни о чём – так, чтобы злые не провели... Поверье?... И занавески в доме поменяла: *праздник большой – со старыми-то стыдно*. К нему же, к празднику, дорожки настелила – у полыни, на льду уже перестирала, *в иордани*, к Кеми на санках их возила. Скрипят те там, а

тут вон... отдаётся. Толсто и матово куржак на окнах – бельма на них морозом будто настрогало – будут незрячи, пока не оттёплит; водой потом наполнятся корытца... Дым над трубой – подпёр орясиной ночное небо – неподвижен, а убери – и небо покосится – зимнее, тёмное, тяжёлое – поэтому. Ельник поддержит. Если не снегопад на улице, то густо над Яланью звёзды. И Млечный путь – почти над домом... Еуляет кто-то, но не разобрать – Отпых мешает... Как нетопырь, перед глазами помелькало и исчезло, смёл будто кто-то всё, как крошки со стола, одним движением руки – и чисто стало – фокус; от глаз, как муху, отмахнул ли – отлетело... Сердце вот только каждый раз занозит – как ёж-игольница, топорщится – тычет от копчика до горла – колко... Водки бы выпить, или медовухи – с той-то скорее унялось бы – уже забыл, когда и пробовал... И если есть Он, Тот, *Иже еси на небесех*, как иногда в Ялани мне казалось, как уверяет часто мать, если Он в курсе, что тут происходит, тогда – тоска невероятная: зачем так с нами?.. А если нет Его, как кажется отсюда, тогда и вовсе: звери мы просто-напросто, не люди... Может, поэтому как раз, что – люди?.. Зверь защищается и нападает, но ненавидеть так не может: ребята там, на площади, с отрезанными головами... как грибник – шляпки у грибов... теперь уж кажется: приснилось... Сейчас упал бы и заснул.

Мы тут недавно, в этом доме. Или так кажется. Не знаю. И что давно, а что недавно? – не разобрать – перемешалось. Лото-бочоночки перетряхнёшь в мешке – те так же. Сутки?.. Часы стоят – не заводил: стекло на них – как в паутине – в мелких трещинах и запотело изнутри – стрелок не различить – зачем и заводить?.. Пока пусть будут – материн подарок – как оберег. Взгляну на них – и будто помолился – словно само собой: помилуй, Господи... – но только материным голосом – как въяве.

И от своей пальбы оглох: справа, под самым ухом – мочка онемела – мой тарыхтит, а слева – Васькин... Через простенок, меньше метра. Задница к заднице: Васька – левша... Серёга-с кухни – тот из пулемёта. Там и подавно – часто-часто – чаще, чем швейная машинка, – вижу, как мать сидит за ней... напоминает... Но и у нас: не в час по чайной ложке – по десять выстрелов в секунду. И секунд этих – из очумевшего от боя настоящего в новорождающееся, безъязыкое пока, без эха, прошлое, будто через плечо, протиснулось, пробилось – прорва, которая от ужаса, как от мутовки, за эти дни и ночи светопреставления в одну крошечную бессонницу, похожую на сон кошмарный, спachtалась...

Будь защитой их во всякой опасности, да не подвергнутся внезапной гибели... – опять её как будто голос, матери... до интонации, до нотки.

Тут уж и вовсе: ухнуло, дом содрогнулся, словно кашлянул и разом весь копотный воздух из себя вместе с потрохами выперхнул, а после тихо вроде сделалось – как на рыбалке, когда в конце августа или в начале сентября, в бабье лето, удишь на плёсе окуней на оловянную мормышку. Чопики в уши будто вколотили – давят на перепонки – больно... Ночь наступила среди дня – солнце – маячило за мороком, заметно, а тут – упало с неба будто, сорвалось: душа, наверное, отлетела, побыла без меня где-то и сколько-то, теперь вернулась – как пришибленная: и снова день, и вроде тот же – возник так, как на фотобумаге в проявителе скрытое превращается в видимое: стою там же, коленками в пол у подоконника, засыпанного штукатуркой и кирпичной крошкой, где и стоял, глазами упираюсь в батарею отопления с проломанной секцией, с засунутым почему-то в пролом парящим дулом автомата, и – чтобы подло не скулить: мама-мама, – вслух, про себя ли подвываю: вы-у, вы-у. И язык узким и тонким, как у змеи, так же, как у неё, как будто и раздвоенным, вдруг почему-то сделался – таким его чувствую, и посторонним, не моим, – в незнакомом прогале между передними верхними зубами остро, но осторожно, как по чужой ограде ночью, шарит – сам себя никак не вспомнит, место ли жительства не может опознать. И нос – влажным и холодным – как у собаки... *кирзовым*. И привкус крови – будто до одури взсос нацеловался... Сам весь в испарине, и тельник мокрый – при полной выкладке как будто маршем – и только, только что вот добежал, как будто так ещё – в противогазе. Ладони липкие – как от конфет. И кто-то под меня пописал будто – спичка

горелая по лужице плывёт... И почему так худо-то, так худо – так не бывало... И начинает доходить – как издалёка, – что это не тишина заодно с моей головой раскалывается с треском, как огромная лиственница от вонзившейся в неё молнии, а он, взводный, нам командует:

– Ноги в руки, и во двор! Живо! К дому, наискосок! К панельной десятиэтажке! – Кричит, осип за это время. Нас лет на пять всего лишь старше. Молодой. Из Тобольска. То ли родом, то ли там учился. Оброс – несколько суток не брился – как в маске. Ещё и в саже. – Щель по стене... мать!.. Рухнет скоро!.. Через подвал! Ребятки, залпом!

Не сам – сорвало будто, понесло.

И в жизни так ещё не бегал – запомнил бы, если бы бегал, – на сухожилиях, как на магнитной проволоке, записалось бы... Быстро – это про другое. Есть подходящее слово, увёртывается от памяти, хоть там и тесно, негде вроде развернуться... Как *угорелый* – ухватил вот... *Легко жить, когда всё хорошо, умеи жить, когда худо...* Но как суметь, мать, как суметь, и тут – не *жить*, а лишь бы выжить... Память и ум во мне как будто обособились: она своим делом занимается, он – своим, и я сам по себе, от них отдельно – сучу ногами, сердце обгоняю, чтобы от страха убежать, но – как от тени... *Я*, – говорит, – *люблю тебя, дождусь...* Посмотрим... И всё время с кем-то будто разговариваешь – то вроде с матерью, то как со Светкой. С кем-то ещё: *спаси, дескать, помилуй* – ну это так уже, на всякий случай... И как худо, ох, как худо... Как граната из подствольника, кто-то её отправил будто только что, так же и я вот – из подвала: если задену что-то, стукнусь вдруг обо что-то, разорвусь тут же на осколки, распыскаюсь на брызги, но на пятках как по глазу – все препятствия впритирочку миную – не взрываюсь... *Выезжаю, выезжаю, никого не задеваю* – так это я, откуда-то ли это – ветром в голову надуло?.. Бежишь, как по трясине, по батуту ли... будто земля стряхнуть с себя пытается нас – так надоели мы ей, терпеливой; петляешь, как мимо коровьих лепёшек, а всё по прямой, в разных только направлениях: кто-то от смерти, кто-то к ней – будто гоняет нас недобрый. И ребята со мной тоже – не отстают, висками чувствую, не отрываются... Спиной не вижу только взводного: все ли выскочили, проверяет?.. Наши, что ли, саданули?.. Из танка жажнули, из пушки ли с «коробочки». Может, и духи... из чего-то. Грязь во рту-и как попала?.. Не грыз вроде. Из воздуха пылью выглотал?.. Скрипит. С песком... с цементом ли. И это?.. Зубы... Думаю, что такое... Тьфу... Не проглотил... Вроде зима, а столько грязи. У нас такого не бывает, у нас – зима-а... Вот и рябина... Рот был, наверное, открыт. И – слава Богу... Самая маленькая птичка, вспомнил, не колибри – пуля: когда летит, не видно её даже. И: расторопная. Только вот-дура. Как пчёл над пасекой, их во дворе-то... разлетались... в поисках мёда бы... а то, бегу, калибры их затылком представляю – кожу на шее холодит – как от ментола...

А – быстро – это про другое. Тут – *угорело...*

Но в голове ясно – будто профильтровано. Как на экзамене, сдать который необходимо только на отлично. Ну и сдаёшь – решаешь моментально и самостоятельно, без подсказки лейтенанта: три подъезда – до какого из них ближе? – как-то вычислилось, с точностью до миллиметра, проверять не надо – верно – потому что ещё бежишь, не споткнулся, и потому что кровь ещё в тебе, не выплеснулась, – а ошибёшься, тогда «неуд» – никак то есть... то есть как-то совсем уже по-другому: когда вопрос, может, и слышишь, а ответить никому уже не можешь – про такого говорят: мёртвый... И у ребят, похоже, так же: мчимся, будто нас из одного патрона выпустили – дробью – ровно, кучно – к одной цели – к чему-то. Мысли – как вспышки – озаоряют: обогнать!., успеть!., и спрятаться куда-нибудь, куда не залетают эти «птички», или за что-нибудь, в чём они вязнут. И вижу всё вокруг сразу как будто, одновременно, будто глаза ещё и на макушке... как у какого-то... у насекомого... на «сфере» – так точнее. Запоминаю всё – как для ответа.

Площадка детская – между домами – ими, домами, будто огорожена – от кого-то, от чего-то ли. Опрокинутая лавка. Ножки чугунные, фигурные – под лапы сфинкса... Или: волкану конечно... Волк тут везде, Аллах акбар... На одну из них, из ножек, скорее всего ветром,

налепило белый полиэтиленовый пакет с рекламой сигарет и зажигалок «Мальборо». Башня от танка. Сам танк в сторонке. *С развязавшимися шинурками*, как говорит Серёга, – гусеницы расцепились. Носом уткнулся в угол дома, молчит, как дед, скорбно. Обгорелый – как банный камень. Жалко так, будто живой недавно был и... скончался. Танкистов ни на броне, ни возле танка. Внутри... остались. Качеля жёлтая – кто-то невидимый на ней качается как будто – пулей, осколком ли её задело – чья-то душа, подумать можно... Скрып-скрап, скрып-скрап – печально, по-чужому, на другом как будто языке. В Ялани так качели не скрипят...

И снег в лицо. Как неожиданный привет из дома. Рывком откуда-то – как лошадь. Густо. То ли просыпался из тучи, то ли с крыши его сдуло. Глотаю машинально – как знакомое, родное – не наглотаться, не насытиться. Место, где зубы были, остужает... В сугроб бы сплюнул – розово бы отпятналось... тут снег не белый – не заметишь. И вечереет. Не как у нас, бархатно-сине, а – серо-буро – по-чужому. Может, и из-за гари – не продохнуть от той и не откашляться. Как будто дети поиграли и оставили игрушки раскуроченные – танк так и выглядит. «Грибок» детский башней – ею, наверное, если представить траекторию её полёта, – снесло, и щепы красные валяются в песочнице – как указательные стрелки – если им следовать, останешься на месте. Раскрашен был под божью коровку. И стена трансформаторной будки, что справа, в красных мелких всполохах – из кирпичей пыль пули выбивают. Как в кино. Только смотрю его, кино это, спиной как будто – не глазами. Не всей спиной, а – позвоночником. С пулемёта кто-то лупит. Чуть выше наших голов – скорей всего, что из подвала. Может, пригнулись-то, и высит...

Из крайнего, левого от нас, подъезда вынырнул *дух*, похожий на мурену, бородатый, в чёрной ветровке, в камуфляжных брюках и в кроссовках, послал на бегу в нашу сторону очередь из «калаша», будто «чао», и скрылся за углом дома-как в прошлое – канул. Задел кого, не задел ли? Никто из наших ему не ответил, как будто он тут посторонний... И не хочу, и не хочу... Стрелять в людей – такое наказание... Ну а не ты, тогда-в тебя... И выбирай вот.

В подъезд дома – как воробьи от ястреба под стреху – только заскочили, и слышу за спиной сиплый голос взводного: «На двери, на пороги и на большие куски штукатурки не наступать!», – всем телом осознаю смысл приказа – острее всего ступнями, кажется, и копчиком – и подчиняюсь. Пятки – как точные приборы – не подводят... пока... и дальше бы не подвели... И: кто-то там... *спаси, помилуй* – не я как будто, кто-то за меня.

Шесть квартир в подъезде. Бывших: от них осталось – лишь коробки. Три налево, три направо – симметрично. И где-то видел я уже такое – точно так же расположены. Не помню. На полу подъезда плитка. Прямо – лифт... Был когда-то, теперь от него – дыра сквозная – танком проломано или снарядом. Куст за дырой – как на картине. Листья ещё на нём – редкие. С осени не опали. Бурые – как будто... В офицерском доме, может, в части?.. А-а. У тётки Светкиной, в Исленьске... Ночь. Тайком... Фаланги тонких, длинных пальцев – будто без косточек, а с фитилём внутри, как свечка восковая, – мнут... На спусковом крючке когда-иначе... на указательном даже мозоль набило – как от литовки – с непривычки. Как сенокосить раньше не любил, сейчас бы – с радостью...

Дверей в косяках нигде нет – взрывами с петель их посрывало – как и где попало, на площадке валяются – пятнисто: голубые, в кожах, и одна из них – зелёная. Изнутри... или снаружи?

Только свернуть нам в первый дверной проём, как тут – будто за нами прямо – и шаркнуло. Не ожидаешь, и не страшно. Страшно становится потом, когда представишь... Лучше не представлять, а то свихнёшься – это же каждое мгновение – мозгов не хватит. Трава не думает – ей проще...

Ваську первым – первым он и вбегал, всех обогнав уже в подъезде, – взрывной волной внесло в квартиру, в самый угол, как бильярдный шар в лузу, меня – за ним. За мной – Серёгу. А у Серёги пулемёт... Даже из рук его не выпустил – вцепился. А там не ложка – девять кило-

граммов. И когда его, Серёгу, с ним швырнуло, меня прикладом по хребту ударило им, пулемётом, – после уж понял – больно, рёбра хоть, ладно, не сломало... Среди всего-то это мелочь.

Стукнуло Серёгу – будто сырой ком глины шмякнулся об стену – так показалось сразу, вспомнилось ли после. Живой. И я живой – если смотрю и вижу: вскочил Серёга на ноги – и вроде как всегда, как человек обычно поднимается, – а левая под ним, смотрю, подмялась. Упал он на пол, на спину, опёрся на локти, лежит, как на пляже, глядит на свою сломанную ногу – глаза округлились. Рот у него открылся – зубы сверкают на грязном лице. Как негр. Чему-то сильно будто удивился. И кость торчит из прорванной штанины. Белая, белая сначала, и розоветь как будто стала... На ум мне всполохом пришло такое:

Был я тогда совсем ещё маленьким, ещё и в школе не учился, осенью, по первому морозу, *к ноябрьским*, пришёл к нам, по просьбе матери, забить бычка старый Фанчик, со скошенным пулемётной пулей во время финской войны подбородком. Мать, помню, подготавливала бычка: успокаивала его, встревоженного, тёплым подсолёным пойлом, гладила его по холке, что-то ему шептала на ухо и кратче плакала – но я-то видел; дедушка Игнат сидел в ограде на лавке, наблюдал, хотя был совсем уже незрячим. И я – во всём, там где-то рядом. И высоко над всеми нами Кто-то... Вывела мать в ограду бычка. Ушла в дом. Зарезал Фанчик – прежде и он на ухо что-то пошептал бычку – ловко вынутым из-за голенища хромового сапога ножиком скотину, поставил под струю хлещущей крови медный ковшик, наполнил его до краёв и выпил содержимое до дна, запрокинув к розовому морозному небу голову и проливая на ушиблённый подбородок и на вылинявшую до белёсости телогрейку ярко-красную струю. После, слушая или не слушая советы следящего за происходящим только ноздрями глухого и слепого дедушки Игната, чтобы ей, матери, легче было управиться с мясом, разрубил Фанчик тушу на мелкие, *сподручные*, куски... Там тоже кости были белые сначала.

«Отвернись. Не смотри, – тогда сказала, помню, мать мне. – Умирать тяжело ему будет».

Ну а без этого не тяжело как будто?

Васька смеётся, как *придураченный*, – крепко башкой-то, видно, долбанулся. Каска на нём, и та расплющилась как будто – кажется – свет ли какой сюда проникает, на ней так отражается, бликует. Васька маленько ненормальный. *Все они, Федосовские, маленько...* Был в родове у них, по матери, Федос какой-то...

Мне легче всех – свалило меня на диван – уселся прямо, как положено, – в воздухе так ещё, руками чьими-то как будто, развернуло и направило.

Тут, у дивана, и стошнило. Одного меня. Ни Ваську, ни Серёгу. Как настойкой на махорке. Прикрыл после каким-то, развернув его, журналом; не по-русски весь написан – зако-рючками...

* * *

Самый центр России. Территориально, следует уточнить, а то, не приведи Господь, возникнут вдруг недоразумения. Сибирь таёжная, суровая – самая-самая резкоконтинентальная. *Намакова землица*, как значится она в грамотах семнадцатого века, приграничная *с тонгусами*. Рядом с одной из величайших в мире рек, скованной сейчас, в глухозимье, крепко-накрепко льдом. Что до Москвы, что до Тихого океана отсюда – одинаково. До Большой Медведицы, пожалуй, ближе – она-то всё же на виду – спокойней. Южнее – Саяны, севернее – тундра. Пространство, пространство, пространство. Так что даже и не представляется – как о Вселенной... И кричать, так только в небо, до кого же дозовёшься. Но чувства оставленности нет – у чужака, у постороннего, быть может, и появится: и тут чья-то родина.

Ялань.

Поздняя ночь. Предутрие. На Рождество. Уже, наверное, *родился...*

Безоблачно и студёно: полюс медведем белым дышит – отпыхивается. Где горит на электрическом столбе, в чьей-то ограде ли какая лампочка, и видно, как сверкает в воздухе изморозь – цветными блёстками – не до чего им, разноцветным: между собой переговариваются – как о сокровенном.

Вокруг Ялани, словно обод на колесе, заснеженный ельник. Стоит – Господь его будто поставил, – смиренный. Господь, конечно, и поставил.

Тихо в Ялани. Безлюдно. Только собаки изредка в разных краях села побрешут. Да просеменит, когтями стуча по промёрзлой дороге, какая-нибудь из них по улице – куда-то, и сама, поди, куда, не знает.

Посреди Ялани, почти неразличимо на фоне снега, матово мутнеют стены церкви бывшей – Сретенья Господня. Без куполов, без колокольни – будто прицельно по ним били. Пусто в ней, давно разорена. Раскурочена, как говорят здесь. И восстановить её некому. Летом, спасаясь от зноя и от овода, забредают в неё лошади, коровы и овцы – мирно все там пребывают. Сейчас скрываются в ней от лютого мороза воробы и вороны. Как им там, на намоленном когда-то людьми месте?.. Душа робеет, как подумаешь.

Со стороны Вельска въехала в Ялань машина. ГАЗ-66, с нарощенными бортами. Остановилась – как думающая. Постояла с выключенным светом минут пять. Тронулась, не включая ни фар, ни габаритных огней. Свернув с тракта и прорезая в глубоком снегу узкие колеи, приблизилась на первой передаче к дому-пятистеннику с тёмными окнами и с жидким, едва заметным, дымком над трубой, задом спятилась к сложенной впритык к забору поленнице берёзовых дров. Из машины, не заглушая мотор и не хлопая дверцами, вышли двое. Потоптались, молча и оглядываясь. Только снег поскрипывает у них под ногами. После один забрался в кузов, другой, стребя с поленницы снежную шапку, стал подавать товарищу поленья, тот – их в кузове укладывать бесшумно. Закончив работу, они сели опять в кабину. Вырулив гружёно на тракт, осветив перед собой дорогу и обозначив себя подфарниками, машина направилась в сторону Елисейска. Дорога ровная – доедут.

Где-то, в чьём-то хлеву, наверное, может, и в доме чьём-то, с улицы еле слышно прокукарекал первый петух.

Располосовал небо чуть ли не пополам, как стеклорез алмазный, метеорит, ни с одной звездой при этом не столкнувшись. Небо не развалилось.

Катерина подышала на стекло. Поцарапала по быстро обрастающей наледью круглой проталине. Проводила взглядом скрывшуюся за ельником – там, у Копыловской долины, где когда-то стояла часовенка и где в декабре прошлого года медведица задрала её, Катерины, брата и племянника, – машину. Отступила от окна. Задержалась среди горенки. Положила ладонь на озябший от холодного оконного стекла сосок левой груди и сказала в темноту:

– Ну и ничё, переживу. Изгородь буду рубить... Потом – заплотишко. До лета хватит. Лишь бы Ваня вернулся живым и здоровым... А у людей, раз взяли-то, топить совсем, поди, уж нечем.

Зашла в *баушкину* комнату, подтянув рукой ночную рубаху, опустилась больно коленями в коврик, горячим лбом приткнулась к стылому полу и, проткнув зрачками землю, молча прокричала:

– Господи, Господи, Господи, Господи...

* * *

Снарядом, взрывной волной которого – ну хоть в окно-то никого не *выплеснуло*, слава Богу, – сильно подторопило нас в эту недавно ещё однокомнатную квартиру, теперь – просто, как говорит взводный, «гнездо» на разных посетителей, то ли стенной бетонный блок вышибло, то ли перекрытие потолочное обрушило – проём дверной загородило наглухо за нами. Как в

ловушке – за щеглами. И чирикай: назад ходу нет, стенку только долбить, и вперёд – в окна не сунешься: тут же, как в тире, расстреляют, а после: или вмерзнешь, если доползёшь, плевком где-нибудь в угол, или на гусенице, как солома гороховая, поедешь... как там вчера... позавчера ли?.. день ото дня не отличить – слиплись, будто раскисшие в тепле пельмени, и ночи эти дни не разделяют, а ещё больше вроде смешивают... И уж совсем не по себе... Одно – как издали, но – утешает: могло быть и хуже – то есть, скорей всего, уже никак, ворвись он, этот снаряд, в дом чуть левее, чуть правее, чуть ли раньше; слава Богу, пока живы; только вот в голове гудит ещё, как в дымоходе при хорошей тяге...

Пройдёт до свадьбы.

Торчит из-под нижнего края бетонного блока, притиснутый к полу, приклад автомата, и, как платочек из кармана, высовывается из-под него же, из-под блока, запылённый уголок полы бушлата камуфляжного. Подоспел кто-то, вбегал за нами следом... Вот и оно – уже никак-то?... *К ней-то уж, точно, что не опоздаешь...* Вроде бы Костя Перелыгин из нашего взвода, нашего призыва... Нау-сразу, там ещё, в учебке, так его прозвали – из всей музыки слушал только Бутусова, *торчал по-чёрному...* Что лишь бушлат – так лучше думать... вынесло самого... как нас сюда вот... может, туда, в дыру от лифта – дескать... Неживым Нау не представляется – добродушный...

Васька толкал плечом её, эту плиту, – не подаётся: завалило там, снаружи?... И сама-то – сколько ж весит – такую не сдвинешь – только краном или трактором. Попинал ногой Васька и приклад под ней – и тот зажат, конечно, намертво.

С улицы, перед самыми окнами, метрах в двух от них, не дальше, громоздится перевёрнутая на бок БМП, загораживает весь вид – сумрачно от неё в комнате. С одной стороны, вроде и не плохо – от пуль защита; с другой: а если подожгут её, сама ли загорится, нас тут, как рябчиков, на сале собственном зажарит. Топливо пролилось – ну а запалы-то, как мухи над помойкой...

По всему полу комнаты валяются открытки, фотографии, окурки, шелуха от семечек, битая посуда, ложки, вилки и стреляные гильзы. Разные калибры.

На качающейся беспрестанно жёлтой люстре с четырьмя разбитыми плафонами и без лампочек в патронах висят белые колготки.

– Парламентёром с ними выходить... Сдаваться... Придётся, может, – говорит Васька. – Выкуривать-то если нас отсюда станут. – Чиркнул зажигалкой, поднёс к колготкам огонёк – загорелись и расплавились те медленно, но верно, капая при этом шумно на пол дымно-огненными каплями. – Русские умирают, но не сдаются.

– Вони, Рыжий, тебе мало, – говорю я ему. – И так дышать нечем. Дурной, что ли?

– Это не вонь, а подогретый запах барышни... Возбуждает... Как соломка, – отвечает Васька. И смеётся. Сейчас – под каской, но вообще он – рыжий. Не как старый кирпич. Как жухлая трава. И весь в веснушках – будто осыпали его мокрого с ног до головы семенами конского щавеля – те и пристали, присохли, как рыба чешуя, – не отковырять. И вихор у него чуть выше левого виска – всегда стоял, помню, дыбом – как нацистское приветствие, ничем не мог его Васька укротить, только налысо когда сбрасывал свою, похожую на моток спутанной медной проволоки, шевелюру, теперь смирился: *хрен с ним, с вихром, мне, мол, он не мешает.* Ирокез, называет Ваську Серёга. И на это тот смеётся. Никогда унылым я не видел Ваську. Ни разу в жизни. *Федосовский.* На кол его посадят, отмороженного, закурить, наверное, попросит только – вот уж где человеке, так уж человеке. «А ему, залупаю крапчатому, что шло, что ехало, – говорит про Ваську отец его, дядя Коля. – Он и родился-то не как все люди – задом наперёд... раком».

– Ну и висели бы, – говорю я. – Раз возбуждает...

– В шкафу пороюсь вон, может, ещё одни найду, повешу, – говорит Васька. – Для тебя специально. Не переживай. Смотри, не кончи только... Ё-моё, а семечек-то тут нащёлкали.

– Курева нам, смотрю, надолго хватит, – оглядываясь вокруг себя, говорит Серёга. – Во, повезло...

Чем-то похож Серёга на Гагарина, на космонавта. Ямочки на щеках. Улыбчивый такой же. Лежит он, Серёга, на сложенном вдвое персидском ковре. Когда немного опомнились, Васька вправил ему, как смог, кость, из лакированных подлокотников разломанного им кресла смастерил шину и скрепил её смотанным с приклада своего автомата резиновым жгутом. Я достал из шкафа дублёрку и накрыл ею Серёгу – трясло того, как от похмелья.

– А там-то полный, – добавляет, – был голяк... Хоть штукатурку заворачивай.

Учился он, Серёга, на третьем курсе Иркутского университета и захотел вдруг послужить – *отдать долг Родине*. На философа. Или на филолога... Филфак какой-то, на котором он учился. Не выгнали – по собственной дури: сам пришёл в военкомат и напросился. Вот, служит – *отдаёт*. Сейчас бы пиво пил и с девками гулял там – где-то... Васька по имени его не называет, а так: «Умный».

– Ну, ты и... У-умный, – говорит Васька, наверное, вспомнив. – Надо же умудриться так об стену... Не Джеки Чан, ядрёна мама... Как лепёха коровья с лопаты – плюхнулся... Вон, от тебя обои все заляпаны.

– Ты тоже не Ингебаров, – говорит Серёга.

– Чё? – спрашивает Васька, приподнимая над глазами каску.

– Через плечо, – отвечает ему Серёга, – и между щёчек.

У Васьки привычка: скажет что-нибудь и подмигнёт. И присказка у него такая: «сказано – сделано».

– Сказано – сделано, – говорит, подмигивая мне, Васька. Ничего это не значит, просто сказал, подмигнул – и всё тут. Я-то знаю. Чуть ли не с яслей... И есть, что с яслей.

– Ты не мелькай перед окном, – говорит ему Серёга. – Как манекенша, разгулялся.

– А чё? – говорит Васька, оглядев со всех сторон и опалив над огоньком зажигалки прежде, затем только прикуривая подобранный им с полу *хабарик*. – Хороший, жирный... Ой, а вкусный-то... И чё за сигарета?

– А ничего, – говорит Серёга. – Кому-нибудь понрависься... там, за оптическим прицелом.

– Да всё равно ничё не видно, – говорит Васька, опять приподнимая пальцем съехавшую на глаза каску и выпуская изо рта в нос себе дым. Присел он посреди комнаты на корточки – как остяк.

– Почему, Васька, у тебя глаза красные?.. Как у ведьмы. И я, наверное, в них вверх ногами... Подойди-ка ближе, посмотрю, – говорит Серёга. И говорит: – Сейчас бы выпить.

– Умный, – говорит Васька. – Только там, из унитаза. И тот раздолбанный, наверное?.. Дрисня там. Будешь?

Серёга улыбается. Говорит:

– И пожрать бы... Водочки-селёдки. Как это всё же замечательно: селёдка, водка...

– Ага, – говорит Васька. – Пожри вон...

В углу, на жестяном цветном подносе, лежит дерьмо – человеческое.

– Вынеси, – говорит Серёга. – В сортир. Или на кухню.

– Выноси сам, – говорит Васька. – Не я же это сделал. – Поднялся с корточек. Взял поднос в руки, унёс его на кухню, в окно, наверное, выбросил. Вернулся.

– Есть там, на кухне, что съестное? – спрашивает у него Серёга.

– Ага, оставили там для тебя... с запиской поздравительной, – отвечает ему Васька. – Шашлык и помидоры. Полный холодильник. Битком. Принести?.. Поднос-то зря я только выкинул, а то на нём бы...

– Да мало ли. Знали же ведь наверняка, что сюда кто-нибудь заскочит... Могли бы и оставить, – говорит Серёга. И говорит вдруг ни с того и ни с сего: – Василиск утоляет голод, Васька, полизав камень.

– Ну, этого-то тут... – говорит Васька. Не договорил. Курит. Говорит после: – Лижи вон, сколько хочешь.

Лежат под столом какие-то камни. С кулак размером и штук десять.

– А что это за камни? – говорит Серёга. – Кто и зачем сюда их приволок?.. Интере-есно.

– А хрен их знат, – говорит Васька. И говорит: – У нас с такими капусту солят.

– Капусту?

– Чё, глухой?

– Капусту солят вроде солью.

– Умный... Чтобы не портилась, придурок. Тебе не больно, что ли, растрепался... И черемшу.

– Любопытство – страсть – сильнее боли.

– Мудил-ло.

– По-русски так не говорят.

– А по-какому?

– По-итальянски.

– А всё равно, хоть по-какому.

Правое плечо, чувствую, горит – пулей чиркнуло, когда бежали через двор, бушлат провалило под погончиком. А когда ещё входили только в город, снайпер – кость, слава Богу, не задело – процарапал левое плечо. Кровь по руке сбежала, запеклась – кожа чешется, как от чесотки, – помыть бы. Труба отопления вырвана из батареи – сочится из неё вода каплями. Помою после... Может, и помою... Об угол шкафа можно почесать, пока и хватит.

Обои на стенах исписаны и нашими, и духами – кто тут только не перебивал за это время... Прошла неделя, ну а кажется – лет сто. По-русски, по-английски и, наверное... *по-ихнему*. Мы с Васькой учили в школе немецкий. Васька, кроме *дер фатер унд ди мугер поехали на хутор*, ничего больше и не помнит. Но по-немецки ничего тут не написано.

– Чё тут начирикано? – отмахивая рукой от лица табачный дым и внимательно, как *демократический приказ*, разглядывая надписи, спрашивает Васька у Серёги. – Ты же умный.

– А зачем тебе? – говорит Серёга. – Поздно учиться – мозги отморозил.

– Так и скажи, если не знаешь.

– Да чё тут знать... На этом, правда, не читаю, – говорит Серёга. – А по-английски так, примерно: Русские свиньи, место ваше – в свинарнике или на бойне... Только безграмотно... Ещё про девок наших русских... Успокоился? То же самое, скорей всего, и на... какой тут... Фантазия от языка не зависит. А что на русском, сам, надеюсь, прочитаешь.

– А чё про девок?

– Обойдёшься... Тебе ещё рано. Узнаешь – спать не будешь, не уснёшь.

– Ага, – говорит Васька. Поднялся с корточек. Содрал обои с надписями, исполненными красной краской из баллончика, и штыком, высунув от усердия язык, по штукатурке крупно процарапал: «Пидарасы». – Без девок как, без них не обойдёшься.

Мы проследили, как он это сделал.

Отошёл Васька от стены, сел в углу опять на корточки. Молчит – как будто думает.

– Через о пишется, – говорит Серёга.

– А? – говорит Васька. – А-а. Какая разница. – Выбросил щелчком окурочек – из своего угла в противоположный; упав, окурочек разыскрился. И продолжает после Васьки: – Кому положено, разберётся... А пидар, он и в Африке... такой же.

Крошка кирпичная, кусочки штукатурки ли – холодят колко за шиворотом бушлата, прилипли к коже, шевелишься, но не отстают – сапожными гвоздями вбились будто – как в

подошву. Штаны... – сыро и холодно. Переодеться бы. Сейчас бы в баню... Шею нарезала – горит – верёвочка с личным номером... натёр шнурок ещё от крестика... когда вспотеешь-то... теперь вот зябко... как кошке, выбравшейся из воды... Да почему так худо-то, так худо...

Совсем *стемняло*.

Сидим. Помалкиваем.

Автомат у меня на коленях. Не стреляем. Куда стрелять?.. В БМП. В самих себя. Рядом с Серёгой лежит его пулемёт, но коробка с патронами от него осталась там, в подъезде. Друг друга уже почти не различаем – блестят иногда в потёмках только глаза и зубы – то у Серёги, то у Васьки... свои – не вижу. *Мышь их унесла*...

На стене висит зеркало, но так, одна рама... осколки замёл кто-то ещё до нас в угол – высятся, поблёскивая иногда, горкой.

Прошёл где-то танк – слышишь его не ушами, а всем телом – земля сотрясается, пол то есть.

В огне где-то «стреляют» рассыпанные, наверное, кем-то патроны – вяло, понятно, что не из ствола.

Пулемётные и автоматные очереди, залпы орудий и разрывы мин и снарядов – не стихают, то где-то далеко, то тут, рядом.

Угарно от проникающих сюда выхлопных газов – город ими переполнен... если это город, а не... ад, ад-то – понятно... точно, что не Рай. В лёгких уже – как в баньке по-чёрному или как в переполненной курилке.

Три дня назад видел на столбике кусок хлеба, теперь жалею, что не положил его, этот кусок, в карман бушлата... аж слюни, вспомнил, потекли, зараза... злюсь на себя, на дурака.

И пить... В ладошку под трубой. Серёге – баночку подставили – накапало.

То и дело ненадолго засыпаю. *Клюю носом*. Как ворон. Может быть, и с открытыми даже глазами. Снится одно и то же: амбар наш возле дома, и я там, разгребая какое-то барахло, что-то испуганно ищу, дверь открывается – и мать в проёме – за нею солнце-мать не разглядеть... Просыпаюсь – не сразу, но осознаю, где нахожусь, – тут же становится хреново, стискивает сердце. А когда тихо – не уснуть...

Опять, под грохот, засыпаю. Вижу сон: прилетает моя душа домой, смотрит, как мать моя сидит за прялкой, и она, душа моя, начинает ссучиваться вместе с нитью на веретено – больно, больно, безысходно. Душа, во сне, когда летит, похожа на сороку. А когда ссучивается – на скрученную в жгут простынь. Во сне. Не знаю, как на самом деле. Но то, что есть она, душа, спросонок верится... Ну не одно же только тело... Чего б ему тогда бояться? Мучиться – ладно. Но бояться?..

Во время тишины – шлепки отдельные: снайпер этажом, двумя ли выше. *Работает*. Наш или не наш?.. А если лупанёт кто по нему? А если там боезапас – это ж как раз вроде над нами.

Серёга не спит.

– Сейчас укольчик-промедольчик бы, – говорит он. И говорит мне:

– Ваня, нащупай там, возле себя, хабарик... Тут, рядом, все уж искурил, – и спрашивает: – А ты что, девственник табачный, и никогда, что ли, не пробовал?

– Нет, почему, – говорю. – Пробовал. В детстве. Пыхал только, не взятаяжку.

– Ага, – встречается Васька. – Конский щавель и крапиву.

– Молодец, – говорит Серёга. – И не кури – вредно.

– Пошёл ты...

Смеётся.

Ваське не сидится – шило в одном месте, и всегда так, помню, с ним было – тянет, слышно, из-под завала в двери полу бушлата.

– Карман, – говорит.

Скрипнул кремнем зажигалки. Вспыхнул огонёк – лицо его, Васьки, видно: разглядывает что-то. И говорит, читая по слогам:

– Фе-но-бар-бутал... О, ёлки-палки.

Погасил зажигалку. Шагает Васька – ходит всегда шумно – как ёжик. К Серёге подступил, подал ему таблетки, наклонившись.

– Спасибо, – говорит Серёга.

– Не все сразу, – говорит Васька. – Аптеки рядом нет.

– Не заботься, милый.

– Хочешь, – говорит Васька, – прикладом получить по морде?.. Тогда ещё и челюсть надо будет склеивать.

– Всё бы прикладом и по морде, – смеётся Серёга. – Нет, доброе что-нибудь...

– Сказано – сделано... Получишь. Ты «милый» взводному скажи.

Считаю про себя в услышанной очереди выпущенные пули – ушли куда-то... до кого-то.

Холодно – как собаке – был бы один, так и повыл бы. Сдерживаюсь как-то. Но зуб на зуб не сходится.

Напротив в доме стрелок с пулемётом Калашникова и гранатомётчик. Молотит. Представляю его – сидит, бородатый... или – мальчишка.

Сижу и я. Только не у окна. Возле шкафа.

Работает кто-то по окнам в нашем доме трассерами, и у нас светло становится.

Визжат рикошеты – с души от них воротит.

Залетела и к нам шальная пуля, раза два, облетая комнату, задела что-то и успокоилась... подозрительно мягко.

– Э-э? – говорю я.

– Э-э, – говорит Серёга.

– Васька? – говорю я.

– Ну? – отзывается Васька. – У-у, ё-моё, мозоль на пятке, – разулся, ещё и носком его пахнет.

– Совсем Освенцим, – говорит Серёга.

Не высовываемся.

Оглоушило от выстрела из РПГ. В ушах тепло – сера как будто вытекла. Рук не хочется поднимать – так худо. Постель в казарме вспоминается... И – Светка... Лучше, лучше не об этом. Тогда о чём? Оно само на ум приходит, со мной не советуется.

Тихо. Снайпер пуляет из бесшумки – *фыкает*.

Смотрю в потёмках на Ваську – тень на тени. Уже – ему хоть грохотно, хоть тихо – дрыхнет на диване, уgomонился, не ходит мимо, не трясёт штанами – и забываю его имя, всплывает почему-то только это: «груз двести»... не дай Бог... наверное, сквозь дрему – так-то живой он, слава Богу, вспоминаю. Васька, начиная с первого класса, изгрызал все свои пишущие ручки, и в восьмом ещё этим занимался. Рот всегда, помню, и на занятиях и после них, был у него в синей пасте – как у чернильного вампира. И пластмассовые – те *изжульткивал*. И деревянные – эти уж до железного зажима, куда пёрышко вставлялось. Ручка его с верхнего конца становилась похожей на кисточку, хоть стенгазету ею было оформляй.

– Хорошо тебе, Умный, – проснувшись, вдруг говорит с дивана Васька. – Теперь в санчасти будешь прохлаждаться.

Молчит Серёга, не отвечает.

На стене около шкафа висит фотография – отсвечивает, – на ней, помню, мужик какой-то с собакой... вроде на русского похожий.

– Беспородный человек имеет породистую собаку, – говорит вдруг, вряд ли ведь он успел заметить эту фотографию, Серёга. – А дворянин – дворянгу... Интере-есно.

– А чё тут интересного? – спрашивает его Васька. – Уже бредишь, – поднял, когда ещё видно было, с полу плейер, держал его в кармане – сейчас швырнул его, наверное, об стену – упал тот, слышно, на пол, разлетевшись.

– Подумать надо, – говорит Серёга. И говорит: – Солёные помидоры могу есть быстро, а грецкие орехи – нет.

– Ты – Умный, – говорит ему Васька. – А чё же здесь тогда, не в этом... как его там... университете... баб не тискашь?

– Киты по речке не плавают, – говорит Серёга. – Киту нужен Океан.

– А-а, – говорит Васька. И говорит: – Сказано – сделано... конечно. А дураку-то... хоть и в Океане.

То и дело освещается наше «гнездо»: трассеры – туда-сюда – простёгивают город и небо над ним – как телогрейку.

Дискотека, да и только.

Возле окна валяется горшок с кактусом. Васька – как на отдельных будто, вижу, фотографиях – поднял с полу горшок; поставил его на стол; украсил кактус, прищипив её на колючку, золотинкой от шоколадки.

– Хоть шоколадку бы оставили, сожрали. Рождество, – говорит. Опять смеётся. – С праздником вас, архаровцы... Сказано – сделано... солдаты... Если, конечно, в Бога верите. Я-то не верю. Ну а выпил бы...

– Никак нельзя сейчас коньки отбросить, – говорит Серёга, поскрипев прежде зубами – ного, что ли, попытался передвинуть.

– Почему это? – спрашивает его Васька. – Чем не время? Лучше и не выберешь. Все тут тебе услуги... и бесплатно.

– А потому что и сейчас, наверное, – говорит Серёга, – по случаю праздника, возле ворот Рая нет Святого Петра, отлучился по начальству, и в Рай можно пройти на халяву... Не интересно.

– Придурок, – говорит Васька. – Чё бы хоть путнее... Рай-то и так тебе – перебегай вон к духам – обеспечен... Ушей нарежешь после наших.

– Холодно, – говорит Серёга. – Как на катке с голой задницей. – И говорит: – А всё же любопытно...

– Чё тебе любопытно? – спрашивает Васька.

– Вот... Спал я, допустим, со своей тётёй троюродной.

– Как это спал? – спрашивает Васька. – Так просто... как ребёнок?

– Да нет, – говорит Серёга, – в двадцать-то лет... какой ребёнок. На два года она меня младше.

– Ну, ты даёшь...

– Кто-то с неба, – говорит Серёга, – из наших с ней родственников, интересно, наблюдал за нами? Нет, наверное... Бог бы не допустил подсматривания... Это же недостойно, развращает. А всё равно вот совесть что-то меня мучает.

– Мало поспал?

– Да нет. Что было.

– Ага. Маньяк, – говорит Васька. Растирает ногой на полу что-то – кусок штукатурки, может, или окурок? – Близко и подходить к тебе опасно... то подомнёшь ещё, как курицу.

– Бог терпел, – говорит Серёга, – и нам велел. – А после: – Искуситель и Искупитель... Разница только в букве... Если слова эти перекрестить в буквах эс и пэ, то Сатана и Пантократор получается...

Васька уже спит: сопит – слышно. Он так всегда: говорит, и тут же засыпает, просыпается, и тут же может в разговор вступить, хоть и храпел ещё только что.

Серёга простонал, затих после. Теперь напевает:

– Пьяный доктор сказал, что тебя больше нет, – и говорит, прекратив петь: – Кассету кто-то скоммуниздил... Васька, не ты?.. Таскался с плеером тут.

Провыли «грады».

Сквозняк – и из-за шкафа, и из-под него – никуда не спрячешься – кости от холода лопаются, как перемерзшие водопроводные трубы, немеют мышцы. Вроде и тряпками уж обложился. Теперь уснёшь, только когда совсем замёрзнешь.

– Умирают люди, умирают, – говорит Серёга, тоже там, в темноте-то, шороборится – дублёнку под себя подтыкает, наверное, – и всё никак не вымрут... Больше и больше на планете их. Как плесень.

Молчим. Чуть позже Васька:

– Ну, так рождаются же... Умный. Домой бы счас, и в баньку бы с отцом.

Молчим сколько-то.

Брякает Васька автоматом – разбирает его, что ли. И говорит:

– Супу бы сейчас, Ванька, полную тарелку, хороший бы кусок сохатины с деручей горчицей и медо-у-ухи бы литруху... Или ты спишь?

– Заткнись, – говорю.

– Да ладно. Не переживай. Сказано – сделано... Ну и пропела.

Пролетела со свистом мина, пущенная, похоже, из двадцатки, бухнула где-то недалеко.

И тут же, следом: будто не дом уже вздохнул, а – город.

Ослепило.

И потолок на нас стал падать...

Господи, Господи!.. Мамочка-мама!

* * *

14 апреля.

Пасха.

Полночь.

Сергей Захарович и Ирина Михайловна в постели. Под разными одеялами в белоснежных пододеяльниках. Читают книги. Сергей Захарович – второй том русской истории Карамзина. Ирина Михайловна – детектив Марининой.

Ирина Михайловна, перелистывая, но не отводя от книги глаз – будто дочитывая вслух страницу:

– Сходи завтра к Хромову, поговори с ним...

Сергей Захарович, тоже не отрывая от книги взгляда:

– О чём?

– О ком, а не о чём... О Женьке.

– Никуда и ни к кому я не пойду.

Какое-то время тихо в спальне. Тикают напольные, в рост человеческий, часы. Порыгивает в батареях отопления вода.

– Надо было отдать его, засранца, в армию, – говорит после Сергей Захарович. – Ещё и к Хромову ходи тут... Обойдётся.

– Ага, и где бы был сейчас он?.. Скажешь, – реагирует на это сразу Ирина Михайловна.

– В заднице.

Сергей Захарович откладывает на тумбочку книгу, снимает очки, берёт с тумбочки пульт и выключает работавший беззвучно телевизор.

– Мутню какую-то развозят... Как будто смотрит это кто-то.

Выключает свою лампу. Отворачивается к стене, с висящими на ней «Венерой и Адонисом», и смыкает утомлённо веки.

Ирина Михайловна ещё сколько-то продолжает читать. Скоро и она закрывает детектив, разделив его закладкой – бумажной иконкой и, с обратной стороны, на ней молитвой «О счастии брака апостолу Симону Зилоту». Выключает и она свою лампу.

Через плотные шторы пробивается в спальню слабый свет северной пасхальной ночи.

На ковре в прихожей чешется кобель – китайский чау-чау.

На улице люди – расходятся с крестного хода.

К чёрным металлическим воротам особняка подсемила дворняжка, улеглась на подстивший уже после дневной оттепели снег и, свернувшись в клубок, уткнулась носом себе в тёплый пах. Не шевелится.

* * *

Тридцатого марта, звонким не от робкой, а от дружной уже капели, остро прочириканым женихающимися воробьями, насквозь прокаренным горластыми, налетевшими в Ялань из ельника, воронами, прострекоченным сороками и людскими душами прорадованным ярким, солнечным весенним днём, вернулся с армии Усольцев Васька. *Комиссовался*. После госпиталя.

И прежде чем направиться с автобуса домой, зашёл он к Голублевой Катерине.

Увидела она Ваську ещё в окно – постоянно, без этого и мимо не пройдёт, в него поглядывает, – и ноги у неё подкосились. На стул, попятившись, присела. Перекрестилась бессознательно.

Зашёл Васька, постучавшись.

– Драсте, – сказал, – тётя Катя.

Голубой берет с *крабом* – по-летнему, а не по форме: шапку и шинель тут уже, в Елисейске, снял с себя и в *дембельский* свой чемодан засунул – чуть не на затылке – рыжим вихром туда его, берет, будто спихнуло, на одном честном слове там, на затылке, только и держится; при медали и при аксельбанте.

По дороге Васька уже выпил – на ногах твёрд, но лицо бордовое, веснушки оттенились – дети его портрет легко нарисовали бы – как *солнышко*.

– Драстуй, родной, – чуть не шёпотом проговорила Катерина. И смотрит на него – как на опасность.

Поднялась со стула, как опомнилась, засуетилась.

На стол стала собирать. Забыла ложки на кухне – побежала, чашки забыла – и опять туда. Ну, вроде всё. Вот и варенье. Вот и *печенюжки*.

За коротким чаепитием и рассказал он, Васька, Катерине.

Вытащили их троих из-под завала, отбившись, на следующий же день, поближе к вечеру – взводный был у них такой, *заботливый*, погиб вскоре, загородив собой от автоматной очереди рядового, – ему-то, Ваське, *подвезло*: только три пальца на руке *в плющатки* отдало, *так, как тряпочки, болтались*, их ему и там *отчикали*, почти на месте, да ухо, каску снял с *башки* невовремя, отодрало – *приштопали*, а Ивана на *вертушке* повезли куда-то – у него в груди *хрипело* что-то.

Вертолёт сбили, и все вроде погибли. Ничего больше Васька не слышал про Ивана. Ничего и рассказать больше не может.

Прибежала вскоре Васькина мать и, охая да ахая, хлопая ладонями то себя по бёдрам, то Ваську по спине, то заглядывая с причитанием на *ракитую* руку сына, увела его, больше ещё забагровевшего, домой.

– Да ладно, мамка, ладно, мамка, – говорил на это Васька.

– Пойдём, пойдём, милый, пойдём... Там отец уже... Не знаю.

Спросить успела, помнит, Катерина:

– Когда это?..

– Седьмого января, – придержав берет рукой увечной – другая занята была руками матери – и в дверях уже обернувшись, ответил Васька.

Солнце за окном светило – и померкло, и с тех пор не просветлело – для неё, для Катерины.

Но только теперь вот почему-то, в Четверг Великий, приехали за ней из Елисейска на машине какие-то люди и увезли её в Елисейский райвоенкомат. Привезли туда и ещё двух женщин из разных деревень района. Сказали им что-то. Посадили в автобус и повезли в аллею Героев – есть такая в Елисейске. Оркестр громко играет *невесёлую* музыку. На тумбах каких-то, покрытых красным сукном, стоят гробы железные, *нерусские* какие-то. Женщины падают – каждая на *свой* гроб – и режут *взахлёт* над ними.

А Катерина стоит, как идол остяцкий, веком не дрогнет. На третий гроб глядит рассеянно.

Это не он, не Ваню я тут хороню.

И там, за тополем, прячется какой-то мужчина в военной форме – зачем-то.

Похож на Сенью, постарел лишь.

Сказал ещё кто-то что-то. Сказал ещё что-то другой кто-то. Ещё и женщина какая-то – та долго. Опустили гробы в могилы. Комья глины бросили на них – стукнулись те гулко. Закопали.

В небо постреляли. Три раза. Громко.

Мать я... поэтому... Не Ваня это.

Скотину управлять дома надо.

Отвезли Катерину в Ялань на той же машине.

Вошла она в дом. Села напротив окна. Сидит.

После уже, как засмеркалось, переоделась она в *хозяйское*, пошла управляться. Управилась. Не помнит.

В апреле уже, перед самой Пасхой, ночью, прямо во дворе у Катерины, зарезали «охотники» её бычка двухгодовалого. Шкуру оставили, а мясо увезли. Кто это сделал, так и не нашли. Никто и искать не пытался. Теперь такое сплошь и рядом – на все случаи искателей не наберёшься. Ни растить, ни кормить, а самим быть постоянно с мясом – легко и сытно; можно и продать сворованное мясо – будешь с лёгкими деньгами. Со всех сторон выгодно и удобно. Но Бог – Судья-то.

Какие-то из города, – это и так ясно – не свои же – свои на это так же *горбятся*, как достаётся оно, знают.

И сегодня, в Духов день, с самого утра всё не заладилось.

Пошла поить корову, видит, тёлочка заваливается. Возилась с ней больше часа. *Рыбка*. Еле-еле отводилась. Сама. Ветеринара звать – *зря беспокоить только человека*. А в обед направилась во двор её проведать – лежит та, тёлочка, бездвижная уже, сдохла. На тележке вывезла кое-как трупца на назмище, яму кое-как – земля-то толком ещё не оттаяла – выкопала. Закопала. С холмиком.

Не отрыли бы собаки... Растаскают.

Домой вернулась.

Вошла. Села возле двери – в пол смотрит, мимо ли.

Сидит.

Заявляется к ней глава сельской администрации. Выделил он, оказывается, елисейской – и не крупной пусть, но всё же – *ишике, ишичке*, земельный участок и *нечаянно* урезал от её, от Катеринино, огорода.

Пришёл предупредить хоть.

Смолчала Катерина.

Вышли они из дому, пошли вместе к огороду – *обрешиться*.

– У тебя же изгороди нет, – сказал ей глава администрации, поводя рукою. – А мне откуда было знать, где тут твоё, а не твоё где... Людям пахать уж надо со дня на день и садить картошку. А как он тут, когда тут не размечено... Теперь уж поздно. Зачем ты изгородь спалила? – сердится. – Я же не ясновидящий, не знаю.

– Ты бы ей дров привёз, она б и не спалила, – сказала ему подошедшая Татьяна Земляных, крёстная Ивана. – А у тебя язык, чё ли, отнялся? – Катерине.

– Человеку, может, надо, – ответила ей Катерина. – Может, ему картошку негде посадить.

– А тебе не надо? – сказала ей Татьяна. – Негде. Ему и на дом принесут, ты не заботься.

– Да мне одной-то и такого хватит.

Сказала так Катерина и пошла в дом.

Опять скоро вышла.

Стоит в ограде.

Тепло.

В логу перед домом ручей журчит – с весны ещё не истощился – спешит к Куртюмке.

Бродят по косогорам вороны – *большеголовые* – везде всё видят.

Галки прилетели – галдят.

Скворцы скворчут, в хлопотах-уже с потомством.

Пошла Катерина во двор, открыла на пригоне ворота и выпустила на улицу корову. Стоит сама на пригоне, не смотрит на корову – в никуда как-то.

Пошла в амбар, взяла там верёвку, на которой корову обычно водит, – коровой та, верёвка, пахнет; зелёная кое-где – в навозе.

Вышла Катерина из амбара. И из ограды после.

Смотрит в улицу.

На просохшей уже дороге пыльный вихрь – несётся в сторону кладбища – как живой, и понимает. Чего только с дороги-то не пособирал – как малый.

Проводив равнодушно его взглядом, спустилась Катерина под гору. Направилась, сапогами чавкая по сырой ещё в низине земле, к ельнику.

Перебралась по доске через узкую в этом месте Куртюмку.

Вошла в ельник – тот на пригорке. Пригорок боком своим – к солнцу.

Села на просохшую валёжинку под от других поодаль стоящей толстой и высокой елью, с которой в детстве ещё серу *колупала*. Верёвку на колени положила. Руками её держит – не уползла бы.

Оглядела ель от комля до вершины, сколько ей отсюда видно, нижние сучья – те особенно.

Смотрит теперь на муравейник – кипит тот – снуют по нему и вокруг него муравьи. Самозабвенно. И по сапогам у Катерины. И на платье. По рукам уже. И по верёвке. Любопытные.

Не знает, сколько и сидела: «За муравьями наблюдать – время транжирить, – так бы сказала её, Катерины, бабушка, Фиста Егоровна Усольцева. – За огнём – тоже... Хотя подсказ, урок всё Божий».

Посидела ещё сколько-то.

Поднялась с валёжинки. Закинула верёвку на плечо. Идёт, рукой теперь её не держит.

Домой направилась.

Выбралась на дорогу.

С коровой своей поравнялась. Загнала, ругаясь на неё, во двор корову. И верёвкой её ещё отстегала. Не сильно. Ошалела та – как ничего не понимает будто – вид у неё такой, очень уж бестолковый. И не мыкнула при этом – *бескарахтерная*.

Стала в гору к дому подниматься Катерина.
Поднялась. Гора-то будто не высокая и не крутая, но – как в небо.
Одышка одолела.
Возле амбара задержалась. Рукой в стену. Тепло от стены – прогрелась, делится – волной
по воздуху, теплом-то. Ласково.
Пошла к воротам.
Остановилась.
Смотрит в улицу – зачем-то – всё и так знакомо, всё наскучило.
Ветер – задирает курам перья, мусор им в глаза заносит – как играется.
С ним играют, с ветром, ласточки. Проворные.
Смотрит в улицу Катерина – как в прошлое – только памятью.
Мужчина какой-то идёт... Военный.
Стоит Катерина. Вглядывается – как в ушко теперь игольное, с ниткой.
Через кого-то будто чувствует, что:
Подкосились у неё ноги, сдавило грудь – не задохнуться бы.
Ои-ои-ои-ои... – изнутри так кто-то будто, в сердце стиснутый.
И земля – в неё коленями – прочнее так.
Собрались тучи – давно уже. Набухли – как спелые.
Пошёл дождь. Редкий сначала – будто проверил, испытал – закапал.
Припустил после. Ливень. Лупит – по всему, чему достанется, – не щадит.
Пузырится.
Ждала, ждала трава – дождалась – терпит.
Прошли тучи, скатились – туда, за Камень, к Ислени – там усердствуют.
Солнце высунулось, осветило – засияло.
Ялань обмякла, успокоилась.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу...

2003

Солноворот

Отпахнув лоскутчатое одеяло, спускаю ноги с кровати, ставлю их на тёплый, уже едва ли не горячий от давно заглядывающего в окна солнца, пол и сижу так сколько-то, как онемелый, свесив безвольно голову и руки.

Это – ещё и не проснулся.

Поднимает меня надобность, а двигаюсь я по привычке; шевелюсь, как механический куклёнок.

С вялым усилием приподнимая брови, пробую разодрать яркими бликами озолочённые снаружи веки, но не могу – как будто склеились.

Так оно и есть, пожалуй, – мёд вчера свежий ел, они и слиплись.

В полусне слышу, как громко растится в ограде курица – снеслась где-то, зараза, а где, искать после придётся, время зря тратить. Квохчет парунья, эта – редко. Часто и вразнобой – цыпушки её пикают. Гогочут серьёзные всегда, как *булгаiltera*, гуси. Воробьи чирикают беспечно. Охально стрекочет сорока досужая – ничего ещё пока, значит, не украла, но собирается.

Всех их передразнивают скворцы со скворешни.

И истошно кричит, словно его схватили и пытаются прикончить, с вечера ещё, наверное, запертый в стайке поросёнок.

Это у соседей наших, у Чеславлевых.

Он у них – «паршивец этакой, вездесущим своим лемехом, и идь как-то, шныра, умудрится же, спроворничат, шут и знат яво, каким макарон» – раздвигает загородку, «пробиратся в вертоградишко и вспахиват» там гряды и парник. Его поэтому и заключают.

«Тюремшык» – так его и называют хозяева. Ну и ещё: «Колодник проклятушый».

Скоро его отпустят из узилища. Вынудит. Всех проймёт, невольник, своим душераздирающим противным визгом, постановит на своём, горластый. Хитрец отъявленный, «изведал, сволочь, слабину».

С телеграфного столба на площади, что в центре, «на деревне», возле конторы МТС, из громкоговорителя-колокола разливается по всей округе – до самой окаёмочки – до ельника, пожалуй, – музыка. Жарче станет, так приглушится: в зной и крик не крик, а шепоток – уже замечено.

«Сифония».

Так говорит бабушка моего *шабёра* и приятеля, Рыжего, Чеславлева Марфа Измайловна, баба Марфа.

Внук так в глаза к ней обращается: или «ба-а», или «баушка», – а заочно называет её, в зависимости от своего и, больше, «баушкиного» настроения, то Маршалом Рокоссовским, то Фельдмаршалом Паулюсом. А иногда: «Раздрона шамашедшая» – повторяет дедушку.

«Опять сифонию, язви яё, и запустили, – ворчит порой Марфа Измайловна, насыпая на серую утрамбованную плешинку земляную среди тёмно-зелёной муравки в своей ограде курам корм, иным ли делом занимаясь там. – Как заведут, так заведут уж... Бесперест, однако, но, и безуёму. В гробу-то в городе кого на кладбишшэ с которой провожают, и та, мне думатса, веселыиз этой будет... Всё брым да брым, и кто там бренькат?.. Нет, чтобы путнее-то чё... Ходи и слушай».

«А ты не слушай, старая, ага... в уши-то вклинь себе по чижику... в кажно по чопику-и ладно будет», – учит её тогда, когда поблизости где окажется, Иван Захарович, муж её и дедушка Рыжего.

Марфа Измайловна в ответ ему, если услышит, не преминет:

«А сам себе куды-нибудь и всунь их, ворон бздявый... хошь штобы здря да попусту не ротить... Нос вон с локоть, аума-то тока с ноготь».

Иван Захарович лишь посмеётся, обронит изредка ли:

«Дура».

Звуки обычные – мир, значит, в мире не нарушен. Как снег на голову, война за ночь, слава Богу, не разразилась. То ведь американцы – те такие – залетят ночью, бомбу опустят с самолёта – после беги куда не знамо. Папка всегда так говорит:

«Ну, с этих станет, эти могут, этим как палыцы обмочить. Я их, пришлось, на Эльбе повидал – прыткие, что ты, как барбосы... руку подставь – и зубы всадят... Безудержные».

Он же, папка, к этому и добавляет:

«Только кишка у них тонка – кто их пропустит!.. До рубежа ещё, полезут-то, собьют. Им косоглазых и пугать лишь. И то... не знаю. Китай – вон сунься-ка туда – одним народишком задавят – масса такая, скотский род. Им не Японию дубасить. Да упредят, конечно, наши... не позволят. В правительстве у нас тоже не дураки, наверное, сидят... поди, мозгами-то малечко шавелют».

Упредить-то, ясное дело, упредят, кто спорит, но всё равно страшно.

Нужда не терпит, подгоняет – и в полусне не очень-то помешкаешь. Так же всё ещё, с закрытыми глазами, будто лунатик, поднимаюсь, выхожу незряче – путь этот мной маленько не с рождения натоптанный, за грех и сбиться – из избы, привычно миную тёмные, прохладные, пахнущие прошлогодними черемшой и капустой, с чуть покатым от кладовки к дому и щелястым полом, сенцы, теменем упираюсь в заднюю сенную дверь и им же, теменем, её, незапертую, подтолкнув вперёд легонько, через шаг оказываюсь на пригоне.

Пока не жарко, но безветренно. И оно, солнышко, уже – ого, как! – припекает. Скоро и воздух накалится.

Пушистый кот сибирский, Дымка – дома с неделю его не было, блудил где-то, «килди-милди учинял», как говорит про это дедушка Иван Захарович, – только этого будто и ждал, возле двери сидел и караулил словно, тут же, гулявый, то одним своим косматым боком, то другим точно таким же колко мне о голени стал потираться.

Весь в репьях он, чувствую, и где его мотало.

Замурлыкал, слышу, сипло; следом за мной бредёт, снуёт между ногами – не упасть бы, за него запнувшись.

Босой я, и без того ступаю осторожно, как бы на что-нибудь не наколоться, опасаюсь, на щепу, на жёсткую ли волоть.

Подшвы у меня не задубелые. Не как у Рыжего. У того они – как у коня саврасого копыта: что по отаве проскакать, что по камням – ему без горя. А нам, мальчишкам, всем на зависть прочность такая – ну ещё бы!

«У тебя, Володька, кожа на ногах, на плюснах-то, – как-то сказал Иван Захарович, глядя, прищурившись, сквозь выпущенный с кашлем изо рта сизый табачный дым на грязные пятки своего меньшого внука, – чёрна-то чё, как враг, дак это-сь ладно, у мавров вон она и от рождения, слышал, чумазая – живут, однако-сь, и с такою, хошь, говорят, и зверонравны... Ею, твоей, полозья можно обшивать на нартах остякам вон – во веки вечные, поди, не стёрлась бы. Тока, беда, скользить вот худо станут... думаю, шибко уж она шершава, парень... Имя, подошвами твоими, казан вон драить... об их топор ли, ножик ли поправить... Дай-ка, дысь, пощупать их хошь, чё ли, то так, помру, и не потрогаю... Тебе к зиме и чуни, благо, не понадобятся, ты для семьи-то аканомный».

Рыжий ему:

«Деда, отстань, чё привязался?!»

Нос у него, у Ивана Захаровича, крупный, баклушей, как собака на берегу. Так говорит про его нос Марфа Измайловна. Красный, опять же как собака, по выражению моего папки.

Посмеётся Иван Захарович после слов, брошенных им внуку, кому другому ли и по совсем иному поводу, дымом из трубки затянется до «самой опояски», внутри себя его зачем-

то поморит с минуту, потом в пространство выпустит со свистом и, кверху вздыбив, подопрёт им, своим носом, небо, как орясиной, – про всё забудет – так кажется; часто бывает отрешённый – как «идолишшэ остяцкое».

От ворот, с улицы, услышав меня и переметнувшись одним махом через высокий заплот, в щель неширокую протиснувшись под стрехой – воробы оттуда звучно, перепуганные, как сок из раздавленной спелой клюквины, брызнули, от жары, наверное, там прятались, – примчался Буска. Наш кобель двухгодовалый. Тёмно-серой рубашки, оттого и Буска. И уже ластится ко мне, тычась холодным и сырым, «кирзовым», как говорит Рыжий, носом в мои голые коленки.

Я его не отгоняю – ещё как будто не проснулся.

Дымка, сквозь дрёму предполагаю, уже где-нибудь на крыше, в другом ли каком недосыгаемом для Буски месте, и пах себе, лежит, наверное, вылизывает.

Не ладят они-Дымка и Буска-между собой, мир никак их почему-то не берёт, только сойдутся где, так тотчас и поцапаются; кошка с собакой словно – так вот и живут.

Направо, к уборной, не иду – дорожка к ней ведёт возле картофельного поля, на котором ещё лежит от дома тень, и ботва пока в росе поэтому; там не обывало ещё. Даже и в полусне про это помню. Представишь лишь – и передёрнешься: ботва вытянулась, нынче её и «помхой, слава Богу, не побилло», мне она уже едва ли не по пояс – трусы намокнут.

Иду налево.

Останавливаюсь – не углядев, а по наитию – перед распахнутой на всю пятау калиткой и начинаю, выпустив из лёгких облегчённо воздух, пйсать внутрь гудящего, как музыкальный ящичек, от мух двора.

Во дворе, в самом проходе, вывалившись мордой из-за верей, распласталась свинья. «Супоросая». И я, пока её не видя, струёй ей не нарочно попадаю прямо в ухо, та им трясёт, похрюкивая, – дрыхнет.

Осознаю я эту незадачу, представляю вдруг отца, который, застань он меня в таком злодеянии, хоть и нечаянном, ремня мне всыпал обязательно бы, и просыпаюсь окончательно. Но свету столько, что я тут же жмурюсь.

Кроме нас, меня и Буски, да не считая скрывшейся заблаговременно от предстоящего полуденного зноя во дворе свиньи, на пригоне никого.

Отец давным-давно уже находится в командировке. В какой-то из дней между майскими праздниками ещё из дома отбыл. Туда куда-то, на какую-то *низовку*. И когда теперь прибудет, неизвестно.

Марфа Измайловна – ладно бы раз ещё, а то всегда почти как ни увидит, а видит она меня «повсядни» – и говорит мне:

«Волки, поди што, на родителе твоём на свадьбу, батюшка, уехали – так долго нет-то».

Ну а сама и голову в своём, «старушичьем», платочке вбок наклонит, как будто сверху, с неба, или снизу, от земли, к чему-то вдруг прислушиваться станет, сощурится, как слепу, ладонь навесит над глазами горбиком и хитро смотрит на меня из-под неё – и что ей весело?

«Да бро-осил тятка их, чё уж неясного, как пить дать, бросил, – вторит ей и он, Иван Захарович, если где около присутствует. – Да на другой уже жа-анился! Мужик в прыску, как хрен сентябрьской. Оне яму на што тяперь сдались тут, оглоеды?! Но, – говорит, – а молода жана вкусня сплошная – кусай яё от головы до пяточек, любезнячай... Там, на низовке-то, бывал, дак знаю, бабы – не бабоньки, а – шанюжки съядобные», – и похочет, как покашляет, рукой придерживая трубку, но изо рта её не вынимая, а похочет, и уснёт, плечом притулившись к чему-нибудь, или уставится, оцепенев, в себе на что-то, как на страницу; глаза у него тусклые, как стёклышки старинные, но не сухие, а слезятся – всё будто, вспомнив что-то, по чему-то плачет.

Понимаю я, что они шутят, и ничего на это им не отвечаю – уже не маленький – поэтому, да и он, Рыжий, внук-то их, но друг-то мой, мне растолковывает:

«А ты их, парень, больше слушай! Они тебе наговорят. Из умишка-то уже повыживали!.. Рыба откуда тлет?.. С башки. Ну, и у них там всё уже изгнило».

Помню, что день Победы дома он, отец, уже не отмечал, и это точно, не забылось бы такое скоро.

Был бы в гостях у нас тогда и «тятя» Рыжего – он, Рыжий, не отцом отца зовёт, не папкой, а тятенькой, у них так водится, – Захар Иванович Чеславлев, кто бы уж кто, но он-то непременно: папкин приятель закадычный, так поэтому, были бы и другие – полная изба.

И до утра велись бы разговоры, до ссоры, может быть, не без того, к утру, конечно, помирились бы, но уж без драк, до драки дело не дошло бы, не распускают рук обычно, пелись бы песни, были бы и слёзы, ну а когда не женщины, а мужики заплачут, водка ли, в помрачённых, в них, запоминается такое обстоятельство надолго: мороз по коже потому что – скоро бы это не забылось.

И к той поре в самой Ялани, где не в низине и без застины, все поляны уже оголились, только трава на них ещё не зашелковилась, ручьи журчали по логам – весна в этом году случилась ранняя, – но в лесу, а в ельниках и в пихтачах, в тех и особенно, снегу ещё полным-полно лежало, не по насту в тайгу и не сунуться было, и реки только-только начали тогда вскрываться.

Кемь, помню, тронулась, пошла – разбудила среди ночи многих грохотом и гулом.

Уже и солнце, помню, закатилось. Мы – брат, поколотив меня на сон грядущий, сестра и я, обиженный, но не заплаканный, – уже и спать ложиться собирались. Слышим и узнаём.

Встреченный радостным лаем Буски, подвёл он, отец, Гнедка к воротам, привязал его к столбу, в избу вошёл, в горнице пистолет и планшетку достал из комода-там, под бельём, они всегда хранились, в нижнем ящике, – переоделся в форму и, пристраивая на фуражку сетку-накомарник, сказал:

«Елена, поехал я. В дорогу чё-нибудь мне собери... немного тока – хлеба ломоть и... луку, может... соли?»

«Да ты куда? – спросила его мама, та тоже в избу только что вступила – была в ограде, управлялась. – На ночь-то глядя!»

«А-а, позвонили, – сказал отец. – Там, в Ворожейке, мужика какого-то зарезали... Не знаю, беглые, свои ли?.. Свои-то – вряд ли... По телефону-то по этому, зараза... дак еле слышно».

«И чё, так к спеху?.. Уж до утра-то обождал бы... Его, убитого, уже не воскресишь», – сказала ему, разболаясь, мама.

«А чё мне – утро или вечер – какая разница?.. Доеду», – сказал отец.

«Ну а медведь... с берлог-то поднялись уже... и так чё, мало ли... не день... Скоро совсем уж отемнят вон», – повесив на костыль возле двери фуфайку и кивнув на окна, сказала ему мама.

«Ну дак и чё, что отемнят? – сказал отец, раскрыв зачем-то планшетку и проверяя что-то в ней. – И чё медведь мне?.. невидаль какая... когда и сам я, как медведь...»

Медведь и есть он – так тогда подумал я.

«Зови с собой хоть Буску вон, ли чё ли, – предложила ему мама. – Всё не один».

«Ага, зови! – сказал отец. – А кто его кормить там станет?.. Сам-то по людям всё... как гость-татарин... да кобеля ещё навязывай... Удобно, думать?!»

«Ну, смотри, – сказала мама. – Я не знаю».

Взял отец со стола приготовленные ему в дорогу и завернутые в газету продукты, сунул свёрток в карман галифе – поместился тот, карман немного оттопырив, – вышел из избы, после – из ограды, сел на Гнедка и уехал. Но вернулся минут через десять – мы ещё и задремать-то не успели, – в дом заходить уже не стал, в окно негромко крикнул маме:

«Елена, я отпустил Гнедка, а то намучаюсь с ним по такой дороге. Пока уброд, к утру-то вдруг да зачиреет. Бабки натрёт, и чё потом я с ним, со сляченным-то, буду делать!.. Пешком пойду».

«Ну, с Богом, – прошептала мама. – Не ближний свет, под восемьдесят километров... Потёмки в дверь, а он направился».

И уже там она, на кухне, сама с собой уже, конечно:

«Конь – аж лоснится вон – жирует; лето, как ошалелый, по деревне носится; а мы, хозяйева, всё пеши. Так и к чему он, конь, тогда нам этот?.. Лишнего сена сколь вон только ставить».

Конь у нас хоть и казённый, но поесть не дурак, за двух коров управится, пожалуй. Ему ж и сена дай, дай и овса. Да и уход за ним немалый. Одних лишь шевяков из-под него сколько кузовов за зиму вывезешь на назмище – целую гору там от октября до мая-то навалишь. Не забава конь в хозяйстве.

Чуть ли не до лопаток запрокинув голову, одним глазом, приоткрытым еле-еле, через радугу, разбитую в ресницах, пристально, но беспцельно оглядев высокое, без облачка до самого озора, с плавно и пока молча кружащими по нему в разных направлениях двумя коршунами и стайей шумно, но как будто понарошке атакующих их галок, небо, а затем и то, что окрест, уже мельком, я возвращаюсь снова в сенцы, пересекая их насквозь и появляюсь на крыльце.

Крыльцо широкое и некрутое – в четыре низкие ступени; хоть и без кровли, но с перильцами. Одна балясина в них новая – отец недавно её встроил, вместо прежней, перегнившей, – ещё и пахнет свежим деревом – осиной. Старые – все до одной – точёные, фигурные, а новая – та просто столбик, околёное полено; те уже серые, а эта жёлтая, как репа. Сидит, замечая боковым зрением, на ней, на новой, чёрный, как семячко подсолнуха, только раз в пять того крупнее, продолговатый жук с огромными сяжками – «волосогрызица»; сиди ты, думаю.

ИБуска – тотужетут, пострел, возле меня – успел, своей наторенной тропой, вокруг поместя обежал, резко упал под ноги мне, на залитую солнцем плаху, чесаться начал – донимают, бедолагу, блохи: в дохе такой, в такую-то жару.

И я вдруг вспомнил. Когда он, папка, заменил негодную балясину, мама – не в магазине ли была, вернулась? – сначала долго на неё, на новую, смотрела, ну а потом и говорит:

«Ну, Коля, ты и смастери-ил, и сла-адил... Сердце, как от войны, аж защемило... Ох, ты и пло-отник же, кудесник».

«А чё тако? – ответил папка ей, рукой на дюжесть проверяя сделанное. – Стоит? Стоит. Не завалилось? Нет. И не завалится. А чё ещё и надо, баба?.. Её и веком не источит».

И мне так кажется: не падает – и ладно.

Передо мной теперь ограда наша, как и у всех почти в Ялани, обнесённая, словно острог, глухим бревенчатым заплотом, метра в три, если не больше, высотой, разделённым, с улицы, крепкими двухполотными воротами с обвершкою, на которой тёс уже зелёным мхом порос от древности – как на клюквенном болотце, да калиткой, с тылу, выходящей в огородник, сверху открытая наполовину, а на другую – спрятанная от дождей, снегов и солнца под пологим, односкатным желобниковым навесом, и знакомая мне до последнего узга, конечно. Как родился, с той минуты, кажется, её и помню.

И смотрю я уже в оба глаза – с трудом продрал их наконец-то, чуть уже пообвыкли они и к ослепительному свету, – вижу:

Разведён в ограде – в старом, негодном цинковом тазу без ручек – дымокур. С навозу. Курится – порывисто не валит клубами – размеренно. Ветра нет, и не гуляют по ограде сквозняки, а потому и он, дым, не болтается по ней из угла в угол, как загнанный. Отыскал себе вольготное пристанище – накопился под навесом непроглядно, роющим там в мусоре курицам глаза, наверное, разъедает.

И – наверное – из одного лишь любопытства просачивается он, дым, на улицу, но там его, поди, и не заметишь – тут же под небо, ловкий, и окрасится.

А задымлённый тут, в ограде, воздух без задержки и стремительно, словно состязаясь между собою в расторопности, звонко пронзают пауты и слепни – то продольно, то пикируя; без дымокура не было б от них покою – страх как назойливы, но тем они и живы.

Один из них, «конский», сумел как-то, меня в стегно, подкравшись, уже тяпнул – так, что я охнул и проснулся окончательно, – стою теперь, чешусь, как Буска, но тот – от блох, а я от – боли.

Мама стирает. На ней коричневый передник, юбка зелёная и голубая кофточка с закатанными рукавами. На голове косынка – от напёку.

На листовяжной крековстой чурке стоит корыто деревянное, а из него торчит стиральная доска. Рядом с корытом, на табуретке, сложены горкой уже постиранные и свёрнутые в жгут отжатые тряпицы разноцветные, а прямо на земле, вернее на муравке, возле табуретки, кучится ворох грязного белья, пока ещё сухого.

Припав боком, но морду не опуская, лежит на этом ворохе Дымка, в полуприщур глядит на Буску. Одна лапа, передняя, у него, у Дымки, вздёрнута кверху – так и застыла – умывался кот, наверное, вылизывался, пока кобель в ограду не ворвался?

Всё это вижу я и говорю:

– Ма-ама, пое-есть.

Не отрываясь от работы, но обратив ко мне лицо, мама шутливо отвечает:

– А чё ты рано так поднялся? Ещё и солнце вон с избы не своротило. Ещё маленечко поспал бы.

– Не-а, – говорю. – Выспался.

– Там, на столе, на кухне, сахар, хлеб и молоко... от мух прикрыто полотенцем. В печи томлёная картошка.

– Угу, – говорю и спрашиваю: – А где Колька с Нинкой?

– Полоскать бельё на речку повезли, – отвечает мама, на меня уже не глядя.

– На тележке? – спрашиваю.

– Да, – отвечает мама.

– А-а, – говорю.

Разворачиваюсь и иду в избу.

Прохожу на кухню и не умываясь, потому что не люблю уж очень эту процедуру и потому что некому сейчас меня заставить, и не одеваясь, потому что путём ещё не «разломался», сажусь есть.

Ем домашний, спозаранку выпеченный мамой, *оржаной* хлеб, с не остывшим ещё мякишем и хрустящей корочкой, вприкуску, не размачивая, хрумкая *комковой* сахар и запиваю свежим пенным молоком.

Приходит мама. Слышит, как я управляюсь с сахаром, и морщится.

– Зубы-то вот себе испортишь, – говорит.

– Не-а, – говорю, – не испортью.

Убрав заслонку, мама вытаскивает из печи сковороду с толчёной и тушёной со сметаной картошкой, сверху покрытой золотисто-бурой плёнкой, оставляет на шестке её пока и спрашивает:

– Ну а картошку?

– Не-а, – бубню я – оттого что рот-то полный.

– К тебе уж друг твой прибежал, – говорит мама, прикрывая сковороду с картошкой большой алюминиевой миской.

– Да знаю, слышал, – говорю, но не уверен, слышал ли на самом деле, или это мне приснилось только?

Вовка, Рыжий, поднимается всегда с петухами, чуть ли не раньше своей бабушки. А та его за это, помимо прочего, величает иногда ещё и Вохристым Петелом. Похож, наверное, не

знаю. Пока я не проснусь и не встану, он уже раза два или три успеет прибежать под наши окна и покричать меня, живём-то мы через дорогу только, не окна в окна, правда, наискось. А я – и слышу если иной раз, но – никогда ему не отвечаю: я пробудиться рано не могу. Сорвать с кровати меня можно, поставить рядом – устою, но разбудить – это задача. Папка – тот так: поднимет меня голосом, а в чувство тумаком приводит только. Теперь уже я машинально: сквозь сон голос отцовский как услышу, тут же и вскакиваю и глаза распахиваю сразу, но – что проснулся я – не значит это, – это меня инстинкт от подзатыльника спасает. По ходу дела пробужусь уж.

В ограде хлопает калитка. Я смотрю в окно и вижу: Рыжий – лёгок на помине. Язык у него высунут изо рта и зажат губами: мало ли, совсем не выпал чтобы, – привычка у него, у Рыжего, такая – что-то уже придумал, значит, и теперь будет *сомушшшать* меня на это. Баушка Марфа так порой и выражается: «У-ух, Сомушшатель... Велиарово отродье!» – это она к нему так, к внуку.

Выпрыгиваю из-за стола, хочу бежать навстречу гостю.

– Да ты куда это?! – говорит мама. – А ну-ка, сядь. Поешь толком, тогда и отправляйся.

– Не-а, – отвечаю. – Уже наелся.

– А чё в трусах одних?.. Совсем сыми их.

Я залезаю, торопясь и путаясь, в когда-то чёрные, а ныне выгоревшие до белёсости сатиновые шаровары, накидываю голубую, тоже уже изрядно полинявшую, в полоску белую, с коротким рукавом рубашку, не обуваю, а вбегаю в них, в сандали и, думая, что Рыжий там, наверное, занялся, как обычно, с Буской, покидаю быстро избу.

* * *

И только на ногтях, наверное, нет у него, у Рыжего, веснушек. Но и ногтей-то там – до белёжков почти обгрызены, до *мяса* ли, как говорит Марфа Измайловна, и допытаться-ка попробуй, чуть отрасти он их, так, может, и на них проявятся, кто знает. Ещё и вот, поди: на пятках-на тех они, веснушки-то, и есть, возможно, да только их не разглядишь – под коркой чёрной потому что, зимой надо будет проверять, когда отпарит он их, пятки, хорошенько в бане, но вряд ли раньше Нового-то года.

Обкарнал его отец, дядя Захар, на лето, как башку, *под листу*, так и там, на темени, веснушек у него, словно песку на берегу кемском или исленьском, – столько, пожалуй; что сосчитаешь-то – сомнительно; в августе ночью тёмной звёзд на ясном небе меньше выявляется; ещё бы чуть стеснить на нём, маленько сдвинуть их, веснушки-то, и получилась бы сплошная – и был бы он, Рыжий, тогда одно родимое пятно.

Другого, такого же веснушчатого, в Ялани нет. Имелся бы, известно было бы. Пожалуй, нет такого и в округе.

Как – где стоит, потом – сорвётся резко с места вдруг, стремглав куда-нибудь помчится, ну и посыпались они с него, как искры от точила, – со стороны-то смотришь, так и кажется. Когда на солнце – и особенно. И в ливень сильный – тогда тоже: крупные капли хрящ с настила или с тротуара, на ногах людьми туда натасканный, так выбивают.

Волосы у него, у Рыжего, хоть и короткие, но толстые и красные – и голова его от этого сейчас похожа на кирпич, формой-то нет, по цвету только, а так – как мячик.

«У тебя башка, Володька, – говорит ему дедушка его, Иван Захарович, – как у сиротки у казанского – округлая... так почесать её и хочется пошто-то... чем бы потвёрже-то... граблями. Ага. А задницу – крапивой».

«Отстань, деда», – говорит ему на это Рыжий.

Смеётся «деда».

И он, Рыжий, в таких же, как и на мне, шароварах, только заплат на *евоных* побольше, чем на моих, – одна сплошная скоро будет.

«На ём, как бытто на огне, сгорат одёжка вся, на мухоморишке... Не напасёшься, на мамая», – так говорит о нём Марфа Измайловна.

В точно такой же, как и у меня, рубашке он, лишь на ногах вот у него, у Рыжего, как у меня, сандалий нет – босой он.

«Яму обутка не потребна, – так говорит о нём Иван Захарович. И добавляет: – Он как окованный, засранец».

И на ресницах у него – как кажется – веснушки; он и моргает часто так, будто от них освободиться хочет, от веснушек, чтобы глаза не застилали.

А глаза у него, у Рыжего, как у кота, у Дымки нашего, жёлто-зелёные. Только у Дымки зенки круглые, как пятаки, а у него, у Рыжего, они – как прорези – словно окоском, ранит ими окружающее.

– Я приходил уже к тебе. Ну, ты и дры-ыхнуть! – говорит Рыжий, наступая босой ногой в податливое и ворсистое брюхо распластанному кверху лапами на крыльце Буске.

Буска рычит, ощерившись, но так: по-доброму – ко всем он, Буска, хорошо относится, даже и к Рыжему, миролюбивый.

А Рыжий продолжает:

– Я вчерась корову гнал с Кеми, из-за Бобровки, проклятый Паулюс отправил, дак там, в плёсе, перед кривуном, ниже склада-то горючего, такой тайме-е-енишшэ сплеснулся, я ажно вздрогнул, испугался, думал, кто с яра не упал ли... а тот хвостом-то лупанул, дак я и понял... хвост, как пехло, там – что ты! – лопасть. И сам весь красный... как язык. Я и червей уж накопал... жирну-ушших всё. Как яшшэрки – такие. Пойдём. А может, и возьмётся? На червяка не клюнет, пескаря ему подбросим. Но, – говорит Рыжий. И говорит: – Ага.

Я и верю и не верю, но уговаривать себя не заставляю. *Сомуишатъ* Рыжий великий искусник – там не поддайся! – воли никакой не хватит, живой – не камень, льнёшь – как к липкому. Если и обманывает, то и себя же сам не меньше, чем других, но это честно ведь – в равном все положении при этом, получается, – и он, и ты, ты даже в более удобном – не согласился и ушёл, ну а ему-то от себя куда деваться. А сам себе верит – и нас, товарищей своих, к этому вынуждает – врёт-то уж очень заразительно он, редко кто правду так доносит. Не врёт, конечно, а выдумывает.

«Варнак! Врахотка, язви бы тебя!» – говорит ему его дедушка, Иван Захарович, когда в досаде шибкой на него, на внука, в чём-то его «нешшадно омманувшего». Бывает. Но это дедушка родной. А нам-то ладно, нам-то что, и у самих в пушку маленько рыльца.

– Чё, точно, чё ли!? – спрашиваю я – так, для проформы. Сам-то, в душе, уже и согласился. – А не свистишь? – спрашиваю.

– Хе! – полоснул он, Рыжий, меня глазами-шелками, чуть не порезал. – Свистишь! – И говорит: – Не точно было бы, не клялся б смертью баушки, а то клянусь вот!.. Клянусь смертью баушки! – приложив руку к груди и шурясь на солнце, как на третейского судью, торжественно поклялся.

Как не поверить.

Взяли мы червей и удочки. Пошли на Кемь.

– Тока не здесь, парень, давай-ка не по улице, а по задам, – говорит Рыжий. – В заогороды. А то Делюевы тут, по деревне-то, и – Клава! В окошко выпялится – сглазит.

Тут же, от дома Чеславлевых, вернее от их амбара, свернули мы в тихий заулок, на зады им, заулком этим, скоро выбрались, пошли задами.

Не пыльно – замечательно: идём – впереди Буска, Рыжий за ним, я замыкающим – по тропке мягкой, травянистой – не комары б ещё – близко от ельника и ветра нет, так и полно их, – и вовсе было бы всё здорово, то с головы до ног нас облепили – на шароварах тёмных, так

особенно – за ночь-то как оголодали – пуще крапивы, гады, жалят. Но в сетки-накомарники ещё не наряжаемся – и душно в них, и хуже видно, – пока без них, без сеток, терпим.

– Заплата новая – на ней их сиксильон, – говорит Рыжий, хлопая себя по коленке. И говорит: – Теперь ни одного вот... но надолго ли!

Возле Куртюрки встретили нас чибисы, атаковать взялись с налёту, кричат тревожно – о гнёздах своих обеспокоились, конечно, – нужны они нам, гнёзда эти! – когда таймень в Кеми нас дожидается.

Рыжий, замахиваясь на птиц удилищем, грозитя всех их, если они не угомонятся, в силки переловить, с кого-кого, с него-то станет – дело известное.

«Изувер, – говорит про него его бабушка. – В кого такой и уродился... Убил сороку тут и не поморщился... Во всей родове такого не было... Чеслав л евский – ихий».

Буска – и тот на них, на чибисов, разлаялся, гавкает зарно – как на глухарей – толковый будет.

Отец Рыжего, Захар Иванович, страстный собачник и охотник – «на язычишке тока, – по словам Марфы Измайловны, – как по воде бредёт, он языком-то чешет» – тот, как где Буску ни увидит – не только Буску, а и любого пса прибудного, – так и к себе его подманит, пасть раздерёт ему, внимательно в неё посмотрит, зубы потрогает его, после и скажет: «Хвост вон калачиком, уши вот вилами, и зубы шильцами, щипец вон чуручком – пойдёт за зверем, но, и на губах внутри грибы, будто опята на гнилушке... лапы... вот лапы, чё-то... и не знаю... Хлеб еслив чует, значит – добрый».

Идём-бредём. И обомлели.

В своём огороде, возле самой изгороди, облокотившись на неё обеими руками, стоит Кривая Клава. Голову вытянула, как журавль долговыйный. Давно, наверное, нас видит да и слышит – идём мы смело, не таимся, – а дождалась, когда приблизились, и говорит:

– Не на рыбалку ли отправились?.. Луна-то полная – какая ж вам рыбалка!.. Ну и удумали.

– Да не-ет, – говорит Рыжий, и мгновения не медлил. – У них свинья вон потерялась, искать пошли.

– А удочки-то?

– Да это так... закинем, может, пока ишшэм.

– А потерялась-то давно?

– С неделю, может... но, с неделю.

– А чё-то я и не слыхала... Ну а в трубу-то кликать её пробовали? – уже у меня спрашивает Клава.

– Нет, – отвечаю. – А как в трубу-то? И в какую?

– Как, как, да просто... Как, – говорит, не улыбаясь, Клава. – Залез на крышу, подошёл к трубе и туда, в дымник-то, зови... Как её звали?

– Как?.. Как... Свинья.

– Свинья... Ну тогда так вот и зовите: «Свинья, Свинья, куда ты подевалась? Рыло помыла, пятак поскоблила, друзей посетила, хвостик стрелой – подавайся домой!» – и к вечеру объявится... обязательно... ждите.

– Ладно, – говорит Рыжий. – Пока мы так её поишшэм. Найдём, может. А не найдём, дак и в трубу покричим после, – и говорит ей, Клаве: – До свиданья.

– До свиданья, – говорю ей и я.

– Ни пуха, ни пера, удачи вам, сердешные, – желает вслед нам Клава. – Много поймаете, дак, может, угостите... Давно ушицы не хлебала.

Пошли мы дальше. Идём. Молчим. Мурашки по спине. Отошли сколько-то, Рыжий и говорит, на Клаву не оглядываясь:

– Вот, ты смотри-ка, а!.. Лиса-а. Она как с нюхом будто бы, ли чё ли! Ушлая. И мы, придурки, как назло, в зубы не взяли по травине, с травами-то сглаз не получился бы...

как пить дать... хрен бы ей! Ну, ёлки-палки, а!.. Вот уж где вредная карга, дак уж и вредная. Вреднее на всём белом свете, наверное, нету. Но. И нас с тобой тоже, – говорит Рыжий, – угораздило – и не раньше и не позже – точка в точку подгадали. Колдовка, будь она неладна. Пошли по улице бы, а она-у палисада... Тут тока так – с травинкой тока. Еслиб не знашь какого против заклинанья. Её ведь, ведьму, не минуешь – она не спереди, дак сбоку... В городе одного такая же паршивка изурочила – ходить-то вроде бы ходил, но весь рот ему перекособенило – ни поесть, ни попить нормально мужику – всё изо рта на вошкур льётся... Не посмеяться, бедолаге. Но. Не слышал, помер, ишшо нет ли?

«Ну, может», – думаю.

Сорвали мы по тимофеевке, комельками в зубы сунули их. Хотя и с опозданием, но, мол, на будущее – вдруг да ещё какой где случай непредвиденный.

– Посмотрим, – говорит Рыжий, жуя травину и мотая её перед носом. – Может, и обойдётся, может, и ничё?.. Плохо, конечно. Ишшо и кузницу никак не обойдёшь тут.

Работает в кузнице, в ней же, по разговорам взрослых, и живёт, ночует то есть, Александров. По имени его никто в Ялани и не называет. Кузнец, или Александров, или кузнец Александров – так за глаза и поминают только. Он как не местный будто. Может, и нездешний. Из ссыльных, может, но из давних. Или уж свой такой – как отщепенец – все и забыли, что он тутошний, – и так быть может. Но то, что не из военнопленных, это точно: и до войны ещё он тут кузнечил – люди вспоминают. Жильё-то у него есть – квартира в щитовом бараке, – но он как будто там и не показывается. Сам он, Александров, мужик, по виду, невесёлый, низкорослый, сухощавый, «жилистой», с совершенно лысым, словно стёсанным и отшлифованным, в чём-то чёрном всегда испачканным, то ли в дёгте, то ли в саже, большим, будто распёртым изнутри какой-то нудой потаённой черепом. Около кузницы в крапиве под мшальным поточным жёлобом, рядом с куриной слепотой, стоит огромная деревянная, окованная в три ряда толстыми и широкими обручами бадья, позеленевшая от тины. Выходит он, Александров, иногда на свет Божий, из бадьи водой зацветшей лысину свою окачивает, смотрит угрюмо на ельник, потом – на небо, чуть ли не в зенит, и произносит в него грубым голосом: «Ую-ютно». Слово-то, ясно, не простое, а знахарское – как заколдует им! – мы и боимся. И, мимо кузницы когда проходим, пальцы на руках обычно скрещиваем, а пройдя её, три раза сплёвываем – помогает.

На этот раз никто из кузницы не вышел, слава Богу, не соскучились.

Миновали мы её, кузницу, благополучно. В темноту двери распахнутой с опаской позавглядывали – мрак внутри там полный, тихо-тихо. По всему почти порогу кот огромный развалился – рыжий, грязный. Голову с порога свесил – спит, как пьяный, крепко – так, глядя на него, кажется.

Чуть я было не обмолвился: «А какой рыжий, какой грязный-то!» – но спохватился вовремя и промолчал.

– Э-э, постой-ка... обожди-ка, – говорит мне Рыжий. – Подержи-ка удилишшэ.

Взял я его удилище, стою с двумя.

Высунув и прикусив язык, полез Рыжий к себе под рубаху, вытащил из-за пазухи рогатку, к земле пригнулся, рукой стал по дороге шарить – камушек подходящий для выстрела ищет.

А кота – того и не бывало на пороге будто, ширкнул только красной строчкой – и в крапиве уже где-то. Знает Рыжего, пожалуй, и сквозь сон почувствовал угрозу.

– Вот ты, сволочь жёлтопузая! – огорчился Рыжий – и естественно. Спрятал рогатку обратно, взял у меня удилище. И говорит: – А залепил бы счас ему, ишшо не так бы сиганул-то... если от страха бы не сдох на месте прямо...

Это точно.

Стрелять Рыжий мастер – не перехваляешь. Как снайпер. Не промазал бы, конечно. Мало ему, коту, тогда не показалось бы – если опасность-то проспал бы.

Пошли мы дальше. Идём.

Пальцы-то, проходили, хоть и кузнеца не видели, но всё равно скрестили – расцепили их теперь. И сплюнули.

Идём.

Пыль под ногами у нас плюхает, в сандалях у меня её полно – залетает, вылетает – как из мехов горячий воздух.

Рыжий босой – ему и ладно.

– А как он курит-то? – спрашиваю.

– Кто? – переспрашивает Рыжий.

– Да тот – мужик-то, – говорю.

– Какой? – не понимает Рыжий.

– Рот которому перекосило.

– А-а, – говорит Рыжий. И говорит: – А он не курит... тока пьёт... водку... как кипяточек, мелкими глоточками.

– А-а, – говорю.

Уже и Кемь вон на виду, как слюдой разбросанной, сверкает перекатом; будто, встряхиваясь, брызгается – бликами-то.

За Кемью – Камень в сизой дымке – высится он над рекой увалисто; листья с него – броско-зелёно – лавиной в Кемь стекает словно, а где темнее, там – сосновый старый лес и смешанный, а где совсем уж тёмно – иссиня-зелёно – в распадках – ельники да пихтачи – сейчас угарно от смолистой хвои в них, но тенисто.

Кукушка, слышно еле-еле, где-то там кукует. Полно и здесь их – бесперечь перекликаются.

И хорошо соседствовать Ялани с Камнем – под охраной: ветер с востока редко пусть, но налетает, тут и предел ему, у Камня, – и возвращается туда, откуда прибыл. А там, за Камнем, и Ислень; на Север падает как будто.

Солнышко нынче, летом-то, с утра выныривает из Ислени на один, на правый, её берег, а к белой ночи под неё подныривает с левого – если смотреть вниз по течению; вода тогда в Ислени жёлто-алая, и с небом слита неразрывно, на горизонте тонко-тоненько – о нитку словно – переломлено, как в исполинском зеркале, и вот ещё: и видно – круглая земля – от кораблей сначала мачты появляются, потом уж сами-то они – когда дождёшься.

Недалеко от того места, где – внешней водой подмытый, кедр, пока не рушится, но круто наклонился, из-под него – шумно и пенисто втекает в Кемь Бобровка, родниковая, с камешниковым дном и *харюзиная* речушка, чуть ли не сплошь заваленная буреломом, на Половинке, между Яланью и Балахниной, стоит избёнка некорыстная, тесницей крытая, с простым, как соха, охлупом, с тремя крохотными оконцами на дорогу, из которых два плотно заставлены петуньями с белыми, красными и розовыми венчиками, да одним, слепым вовсе, в ограду с развалившимся двором и с покосившимся заборишком.

Среднее, от цветов свободное, оконце полое, и занавесочка отдёрнута в нём.

Сидит в избе возле оконца на чём-то высоком – на табуретке, может, но с подкладкой – Машенька, хозяйка, держит на сомкнутых коленях муравленный горшок-кашник, что-то мутовкой в нём – не воздух же – мешает. И напевает переливчато и звонко, как скворец сызрану:

– Сметанка, сметанка, сбивайся, сбивайся. Не станешь сбиваться, выброшу в окошко, в коровье говёшко!

– Эй! А говёшки-то и нет нигде тут, Машенька! – кричит ей Рыжий. – А где вон есть, туда ты не докинешь!

– А тебя я, конопатый, не спросила, – прекратив петь и высунувшись из избы на улицу зажмуренно, отвечает ему Машенька.

– Да я так просто... предупредил... чтобы знала, – говорит Рыжий. – А то здря-то...

– Ну да ясно, что несложно. Ты не Чеславлев ли?.. У них всё рыжие-то... но, как немцы.
– Сама ты немец! – говорит, сердчая, Рыжий.
– Значит, Чеславлев, угадала, – смеётся Машенька. – Что ни рыжий, то и норов.
– Ну, и Чеславлев, дак и чё?
– Да ничё, ничё, – говорит Машенька. – Так уж спросила. Мне идь всё, старухе, интересно.

– Ей интересно... Чё, первый раз, ли чё ли, видишь?
– Да нет, не первый – примелькался... А ты-то чей? – спрашивает Машенька меня.
– Ничейный, – отвечаю.
– Оно и видно, что ничейный, – говорит Машенька. – Трубочист, поди, такой-то чёрный, – сказала так Машенька и спрашивает: – А со снастями-то – не на рыбалку ли отправились?

– Нет, – отвечает Рыжий ей. – Так, покупаться.
– Ну, покупайтесь, покупайтесь. Вода-то нынче тёплая, как щёлок. В такой сидел бы целый день и не вылазил... Как из-под дойки молоко.

– А ты-то это знашь откуда? – спрашивает Рыжий. – Чё ли, уж сбегала и искупалась?
– А чё купаться, парень, обязательно?.. И без того оно понятно – парные ночи-то, и днём как жарит. Тока же там, ребята, комаров-то – уйма. До Ивана Купалы – комара убил, как говорят, а леший сито их добавит, ну а после уж Ивана – одного убьёшь – убавит сито. Так что, не знаю, я бы не отчаялась – идь эти злыдни до кондрашки замордуют. Лонись их было бытто бы поменьше.

– Ага!.. Лонись... Всегда их одинаково, – говорит Рыжий. – Наскажешь тоже. Лето с зимой, наверно, спутала...

– Сметанка, сметанка, сбивайся, сбивайся, – забыв про нас и унырнув обратно в избу, запела снова она, Машенька.

Машенька – *деутка*. Хоть ей и возрасту, если не сто, то пятьдесят-то лет уж верных будет. Усатая – как земляника. Но усики у неё белые, словно опока, и – бархоткой. Глазки улыбочивые, карие, как у коровы, и небольшие, как у ласточки. А в самой в ней, в *деутке*, ни росту, ни дородству – как синичка-невеличка.

Марфа Измайловна так, речь где когда про Машеньку зайдёт вдруг, о ней, об *однолетице* своей, рассказывает:

«Машенька лёгкая, как пурыш. Я – за брусникой как-то нас с ней обеих в Волчий бор, леший подбил, мотало, ненормальных, и – на хребте её через Бобровку перетаскивала. Дак оно чё – как ничего... ведро порожнее тяжельшэ показалось. Из трёх лучин она, сиренькая, составленная. Ага, кого там – шшепка шшепкой. Благодатью скрозь, в девицах-то, как тоегодую карамору меж окон, иссушило. В Бобровку сбросила её бы, милую, с загорбку-то – и быстриною б унесло... На поплавок для удочки, поди, сгодится, ну дак!.. коли изробилась в колхозишке, как пчёлка».

А она, Марфа Измайловна, – ого! – бабушка крупная, большая – кого хочешь на себе, наверное, утащит. «Бела, высока – красива», – говорит о ней мой папка. Что «бела» – да, «высока» – верно, но что «красива»-то – мне так не кажется.

Говорить с ней, с Машенькой, охоты у нас тоже мало, как и ей с нами. Нет у нас на то и времени свободного – конь погоняется бичом, а мы мечтою: рыбалка – хуже ведь неволи, а тут ещё... такой таймень нас дожидается – мысли наши буйные о нём довёл до изнурения – скорее бы уже его не мнимо выловить.

Идём мы дальше. Поспешаем.

– Хе, – говорит Рыжий. – Машенька.

– Машенька, – говорю я. – Хе.

– Тоже мне, – говорит Рыжий.

– Да, – говорю я.

– Я ей когда-нибудь устрою ишшо чё-нибудь, – говорит Рыжий.

– А чё? – спрашиваю.

– Да чё!.. Пока ишшо не знаю. Не придумал. Может, к окну картошку привяжу, – говорит Рыжий.

– А-а, – говорю. – Это можно... А так-то пусть.

– Да пусть, – соглашается Рыжий.

Там, где все у нас купаются обычно, где дно почище, без коряг, без карш ли, и не сбивает с ног стремниной, ребятни яланской уже столько накопилось – как в добром городе и в самом людном его месте – на базаре, на толкучке ли.

С толстой, широкой и длинной – с боков и сверху, чтобы не занозило, обструганной *маненько свихнутым* татаринцом Гурамом – доски, одним концом вкопанной и забученной им же, Гурамом, крепко-накрепко в голубо-глинистый ярлок, другим концом пружинящей, словно рессора, – с *трамплина* нашего – кому как нравится, кто как горазд ли – один солдатиком, другой щучкой, третий с подскоками и кувырками, кто-то, неловкий, и плашмя, об воду-то, иной раз угадает, отшибёт себе живот или спину, – плюхаются друг за дружкой, как с нависшей ветки гусеницы, в омут – сплошь мальчишки – ну, естественно, – там до воды метра четыре.

Из девчонок нет рисковых – те чуть повыше по течению, на косе бело-песчаной, вместе с пузатой мелюзгой на отмелине булькаются, как лягушки в бочажные, они и плавают-то – как лягушки, редко из них какая по-людски – сажёнками – сумеет, у них и визгу – у девчонок-то, как будто кто крапивой жалит их или дохлятиной какой пугает, крысой, – противно с ними рядом и купаться.

А ещё, излучиной, повыше, на мостках, там, где во льду зимою прорубают иордань, бельё полощут женщины – кто на коленках стоя, кто на корточках, а кто согнувшись, как в поклоне. Какая-то что мочи есть вальком колотит по мосткам – половики, наверное, стирает – видно: ударит, а услышишь погода чуть – когда рука с вальком ещё в замахе. И Колька с Нинкой там, наверное. И хорошо – и пусть работают, хоть задаваться меньше будут.

– Смотри-ка – соборишшэ-то, а! – говорит Рыжий, совсем сузив глаза, будто закрыв их, так он осердился, и указывая на купающихся удилищем. – Во-о, понапёрло-то!.. Кто, как гусей, согнал сюда со всей деревни будто палкой их... Какая тут тебе рыбалка... Звук по воде, знаешь, как разносится!.. Таймень ушёл уже, наверное?

– Да-а, – говорю. – Знаю... В воде сидишь когда, далёко слышно.

– А то, – говорит Рыжий. – Это тебе ишшо, ты – челдобрек, а каково тогда ему там!.. Ты ушами тока слышишь, а он всем туловишшэм, брюхом, а до брюха – по камням – один момент, и долетело. Как телефон... по проводам вон. Таймень – такая, парень, рыба: где сильный шум, там жить не будет... Куражливый. Ему покой тока нужён – задумчивый. От шума вздрагиват – и утомлятся. Девкам-то можно было бы и грядки пополоть, – говорит Рыжий, – пока не жарко... все здесь. Был бы я их отец... дак оно так, наверное, и было бы – сидели дома бы, заразы. Ишшо и всыпал ладно каждой бы, ага... И вон Цоканиху уж кто-то выпустил...

Бегаёт вдоль берега по самой кромке воды, поднимая, высекая будто, брызги искристые, Настя-Кобыла, Цоканиха. Простоволосая – коса у неё седая, длинная, как шелепуга, – растрепалась; от локтя к локтю под затылком болтается. В мокром платье – можно различить, – в воду свалилась, окатил ли кто её нарочно. В кедах китайских. Ноги у неё – издалека видно – не как на самом деле, толстые – кто-то песку в чулки, поди, насыпал ей, сама себе ли. Кричит что-то девчонкам, будто за них испуганная почему-то, – плавают те себе, вспенивают и мутят ступнями, как утки лапами, воду в прогретом приплёске, вцепившись руками в большие пёстрые матерчатые пузыри – наволочки от подушек, воздухом надутые, – и дуры же.

Настя Цоканова – старуха. Было у неё когда-то три сына, как рассказывают. Двое, близнецы, матросами служили где-то там, на Чёрном море. Недели две до демобилизации им оста-

валось, неделю ли. В Ялани их к ноябрьским уж поджидали. Погибли оба в одну ночь, и «домой вернулись, бедненькие, с ветерком попутным – душами навьими». Года три назад это случилось. Третьего, младшенького, тут, в Ялани, следующим летом, на песке кемском зарезали – с кем-то не тем, «с ненашенским, дурным», на Троицу «связался гулеванить». А у неё, у Цоканихи, с головой после гибели сыновей плохо сделалось, так до сих пор и не исправилось вот. Дочь – дочь у неё одна ещё осталась, – на работу уходя, в рыбокоопе на складах она работает, закрывает дома мать, а та, и как-то уловчается, в окно на улицу вылазит и играет с нами то в казаков-разбойников, то в прятки, то в лапту, то в шило или в чижику, больше мешает, чем играет-то: мяч или чижики попадут ей только в руки, и упал кает с ним куда ей взбредит, после и догоняй её, мосластую, – радости мало; прятаться с ней – беда и только, – не сидит в укрытии спокойно, высовывается, хоть ты её поколоти тут – колотить-то её можно – безответная, как глина, только никто её, конечно, и не трогает – грех это делать. Когда сама она из дома выберется, а иной раз кто-нибудь из нас её выпустит – просится, просится, стучит в окно измученно, маячит, так и разжалобит кого-нибудь.

Жгут покрывку резиновую – от комбайна или от машины – дым столбом чёрный-пре-чёрный валит в небо, даже солнце затемняя, – от овода на берегу одно лишь и спасение – такой вот чад-то: ни одна тварь и близко не подлетает. Как искупался кто, так сразу и бежит к костру поближе, не то – всего, как лошадь потную, облепят, закусуют.

Мы с Рыжим накрываемся сетками-накомарниками, сворачиваем с тракта, идём напрямую, продираясь сначала через чапыжник, смородинник и отцветающий черёмушник, глухо затянувший сухую уже старицу, после – через тальник, чтобы попасть скорее к тому плёсу, где «вчера тайменишшэ сплеснулся». Не до купания пока нам – и понятно.

* * *

Поднялось над Камнем солнце. Забелело – как раскалилось-то на взлёте. От самой рослой лиственницы на его хребте оторвалось уже. Сияет так, что и на воду не посмотришь – для глаз нестерпимо; через личину сетки – ещё ладно – и то ладонью надо заслоняться. Мы в тенёчке жидком – под поклопой и раскидистой берёзой; жмётся неподатливо из-под корней её корявых ключик – струя в нём неворкотливая, мешкотная, студёная – мы припадали к ней уже да и не раз – дёсны немеют от неё и зубы ломит, зато уж вкусно-то – отменно.

«Водица славная, не надо и крем-сода», – как к ней приложится, так и похвалит её Рыжий. «Царская», – говорит он.

Я соглашаюсь.

Марфа Измайловна так говорит о нём, о Рыжем:

«Наш водохлёб-то полон ковшиком может выцедить, потом и пысатся, холера. Мимо кадушки в сенах ходом не проскочет, а зачерпнёт да и полачет».

Если она при нём, при Рыжем, это скажет, тот ей ответит:

«Тебе воды, ли чё ли, жалко?»

«Пошто воды-то!? – скажет ему бабушка. – Тебя, ослушник, агарянин... Крантик-то быстро свой износишь».

Просачиваются сквозь неподвижную, обвислую листву берёзы солнечные лучи – в воду пятна света с веток словно капают, стекают – и вода от этого как будто веселится – пожалуй, так оно и есть – а что ей, скучно – тут не стрежень – неподвижность.

В отблесках зимородок прошмыгнул стремительно. С синей спиной и оранжевым брюшком. По-над водой, чуть не вплотную к своему же отражению. Туда-обратно. Промышляет – мальков ловит.

Бабочки кружатся. Беспечные. Каких здесь только не порхает, разные. Однако чаще-то – капустницы, где-то их – грязь где, сыро – прямо тучи.

Буска их любит разгонять. В гущу где самую запрыгнет и придавить их лапами старается. Вздмуются те – и Буски там не видно. Выбежит после, грязный, но довольный. По жизни он кобель весёлый, только немножко разве простоватый – к людям, чужим, доверчивый – плохо.

Мелькают резкие, похожие на вертолёт, долготелые стрекозы. На удилищах наших остановки делают. Садятся и на поплавки – замрут на них, как неживые. Поймать их трудно – вёрткие, заразы.

Птички, как шмели, маленькие молча – только от крыльев шелест еле слышный – в тальнике охотятся на мушек – рой тех бесчисленный, все листья чёрно облепили.

И вот опять мне вдруг почудилось, будто присутствует Тот – Кто-то – Любящий. И сразу вспомнилось давнишнее. Лежу на чём-то я, спелёнутый, возможно – в зыбке. Веки, проснувшись, размыкаю. Изба залита, словно склянка, или зимним, или летним, теперь не помню уже, солнцем. А надо мной склонился седовласый, бородатый старец, смотрит он на меня ласково – а как, не выскажешь, не по-земному как-то – голубыми, лучезарными глазами и молчит. Молчу и я. И будто думаю: Бох, это – Бох, такое ощущение. После расскажет мама мне, что был это не Бог, наверное, а, скорее всего, мой родной дедушка, возвращавшийся в то время с поселения и, по пути к себе в Новую Мангазею, прогостивший у нас в Ялани всего лишь один день – домой, на родину, скорей попасть стремился, или оказия тогда так выпала, не дожидалась. Но вот – как врезалось, впаялось: Бог это, Бог – Он меня любит.

Рыжий, свернувшись по-собачьи калачиком и от комаров засунув в шаровары, под резинку, руки – пятки у него голые, но комары на них и не садятся даже, принимая их, возможно, за булыжники, – лежит на камешнике, посапывает – рано встал, так и сморило.

Я вроде выспался, так мне и ничего.

На противоположном берегу Кеми, на небольшом галечниковом мысочке, собралось в кучу несколько голенастых куликов, из стороны в сторону бестолково носятся, забегая то и дело для чего-то в воду. Куликают наперебой – как будто ссорятся.

Среди них и плишка чёрнозобая – на коряжинке пристроилась – трясёт хвостишком, будто краску стряхивая с кисточки, растерялась словно, – почиливает.

Коршуны в небе колёса вычерчивают. Галки в них, в колёсах этих, спицы будто дорисовывают. От них, от галок-то, и грай не долетает до земли – в такой выси там – забрались же.

Над рекою воспарения – плотные – даль искажают сизую – сливается та в мареве.

Поплавки наши покачиваются мирно и мерно, но неинтересно на ослепительной водной глади – уж и смотреть на них не хочется. Поклевало поначалу чуть, и после – как отрезало.

Поймали мы с Рыжим трёх пескарей – одного из нихон, Рыжий, наживив его, трепещущего, сразу же на крючок своей удочки, забросил на тайменя, – трёх ельчиков, сорожку среднюю да небольшого окушка – и всё на этом, но и то – уху сварить, так и достаточно. А коту если отдать, тому и вовсе будет сыто.

Рыжий кемарит. Что-то ему, наверное, и снится даже: подёргивается – Буска наш спит когда, тот – точно так же. Уж не тайменя ли во сне выуживает – без меня – товарищ мой?

Поднялся я. Пошёл к кустам. Выломал там из краснопрутника кукан, очистил его от побегов мелких и от листьев и назад вернулся. Насадил добычу на кукан – вся разместились. В берег илистый его, кукан, втыкаю – слышу: всплеснулся кто-то, и огромный. Гляжу на поплавок своей удочки – а тот аж скачет, и от него круги расходятся, как от ныряльщика. Метнулся к удочке я. Рыжий, слышу, засмеялся – и так, что воздух раскололся: тайком швырнул он в поплавок мой камнем. А у меня уж ноги затряслись – таймень-де клюнул. Взял и я камень, кинул им в поплавок его, Рыжего, удочки. И понеслось у нас, поехало – плесцо до дна всё взбаламутили. Но надоело нам и этим заниматься. И говорит тогда он, Рыжий:

– Айда-ка, парень, искупнёмся... Пора, однако... А то сопрел... как мышь вон, но.

– Айда, – говорю.

– Если он не удрал ишшо, тайменишшэ-то этот, – говорит Рыжий, – может, без нас возьмётся лучше... Наверняка.

Сказал так Рыжий, после полоснул по небу щелками-глазами и продолжает:

– Тока, чё-то мне кажется, что он от нас уже далё-о-око – в Ислени где-нибудь уж, в устье. Оставим удочки – никто их не возьмёт тут.

– А кто проверит?..

– Не проверит!

– А рыбу?.. – спрашиваю. – Дымку хоть, чё ли, накормить... Буска-то станет есть её, не станет?

– Пусть будет тут пока, чё с ней таскаться... Так, по жару-то, измусолим... После зайдём и заберём, – распоряжается Рыжий.

Ну, значит, ладно – не перечу.

Проверил Рыжий, прочно ли удилище в берегу сидит – пошатал его, подёргал, придавил его ещё и камнем в комле. И говорит, язык во рту запрятав после дела:

– А ни хрена... поди, не выдерет.

Поплевали мы – от худого случая и злого человека – в сторону удочек и пошли.

* * *

С доски *Гурамовской* попрыгали вволю. С утеху, как говорит Марфа Измайловна, когда она на кухне или в огороде *до смерти уходится*. «Ой, уходилась-то, ох, доля – Божья воля, опять с утеху сёдни и наробилась». До чёрных мушек наныряться. Здорово! Даже земля в глазах от неба побежала, а то за нею погналось. Как на качелях будто наболтались, кратче ли *кисленькой* отведали – *кануну*. Вот с медовухи – с той не так, с той только ноги собственные превращаются в *чужие*. Маленько знаем – не младенцы.

Ещё по разу – напоследок, с подскоком и с перевёртом, – сиганули мы с *трамплина*. На берег выбрались. К доске теперь уж не пошли. Свернули к яру, где одежду оставляли.

– Вы, чё ли, всё уже?! Эй, луговские! – кричат нам из быстро и криво, как червяк по лопате, ползущей к доске очереди.

– Всё-о! – откликаемся мы.

– А чё вы?! – спрашивают.

– Хватит! – отвечаем.

– Ну, и придурки! – говорят.

– У придурков есть ответ: вы придурки, а мы нет! Сами такие! – говорит им Рыжий. – У вас дел никаких если нет, дак и до вечера тут пропадайте!

– Ну и проваливайтесь! – кричат нам.

– Ну и оставайтесь! – отвечаем.

Захватив с собой одежду, а я ещё и сандали, по крутой и сплошь усыпанной колкой хвоей и шишками сосновыми тропинке, цепляясь где за куст, а где за корень обнажённый, на яр вскарабкались. Стоим. Что, мол, и толку, сетуем, что из воды-то только что мы, – сопрели снова, как и не купались.

Рыжий скорее прячется в рубаху, путается в ней, мокрый, бурчит что-то неразборчиво сквозь зубы, торопится – «моментом шкварится» на солнце он – поэтому. На плечах вон у него и так уже облупины – алые – смотреть на них и то больно – обдирать его как будто начали, да он вот вырвался и убежал. Нос у него, у Рыжего, с весны уже облезлый, к зиме поправится; сейчас – как ягода-малина. «Ты, дысь, как выползень, Володька, как змеёныш ли, – говорит ему его дедушка, Иван Захарович. – Кажно летишко и скидывать, засранец, свою кожу. Пошто вот тока?.. И вздумал тоже. Тушкан, ядрёна вошь, опрятаный... А если точно-то: залупа!.. Тебя касатса-то противно». – «Но! А тебя как будто кто-то просит! – огрызается он, Рыжий. –

Отстал бы, деда... то ишшо касатса. Баушка вон – к ей и касайся. Схлопочешь быстро», – дерзит Рыжий. Отстаёт обычно «деда» – к иному в мыслях отлетает.

В ворот рубахи головой пробрался Рыжий. На меня смотрит – давно меня не видел будто. – Или ворот тесный, – говорит. – Или башка большая.

Не знаю, как ему ответить.

– У-у, – говорю.

Смеётся Рыжий. Говорит:

– Башка, пожалуй.

Язык наружу вывалил и закусил его – с рукавами теперь разбирается. Язык убрал. И говорит:

– Опять, как мыши, ё-моё!.. Елки-моталки, – продолжает, – чуток бы хошь со временем-то было посвободней, весь день с Кеми бы не вылазил. Точно.

– Но-о, – соглашаюсь. – Хорошо.

Оделись скоро мы – Рыжий от солнца больше, я от комаров – те, паразиты, не робеют: на тело потное – как мухи на варенье; ещё не сел, а место уже выбрал и хобот свой уже вонзает.

Рыжий рогатку под рубаху спрятал.

– Не потерять бы, – говорит.

То на одной, то на другой ноге по яру поскакали – воду из ушей, что набралась в них, вылили. После туда – к костру – направились мы.

Идём. Глядим по сторонам. И видим издали:

Ниже стремнины, в заводи – девчонки. Полно их там – как головастика в прогретой солнцем лыве. Пищат, визжат, как пилы по железу. «Как шшуки, плешшутса-трепешшутса», – мог бы сказать о них так Рыжий. Мог бы сказать ещё и так: как поросята, верешшат, мол. Сейчас – идёт – ни слова от него – о чём-то, может быть, задумался – с ним так, хоть редко, но бывает. То налево, то направо слюной презрительно циркает. Плюснами они, девчонки, как бобры хвостами, по воде колотят шибко – уже весь ил на дне перемешали – и как охота им?! – мель-то такая – ни нырнуть, ни кувыркнуться. Глупые. Проходим мимо мы, внимания на них не обращаем. Пусть бултыхаются, трусики. Им же и прозвище такое: «кривошшэлки» – так их Иван Захарович и называет. Оно и верно. Жизнь прожил – не скажет дедушка напрасно.

Идём. Смотрим.

Покрышка не горит уже и не дымит, а дотлеает. Шаёт, как говорит она, Марфа Измайловна, обычно, так же за ней и Рыжий повторяет. Осталась от неё, от покрышки, только лишь проволока каркасная – лежит, раскалённая, на белом песке розовыми кольцами среди жёлто-зелёного, как сера горячая, пепла; уже темнеет – *бордовеет*.

Частоколом плотным вокруг стоя, уставились все на неё, на проволоку эту, как завороченные; даже, кажется, и не моргают; молчат. То сам себя кто по голому животу, то соседа по спине или по ляжке вдруг ладонью шлёпнет звонко – паутов и слепней севших убивают. Кто и нарочно посильней кого ударит – в шутку. «Ох, промахнулся, – скажет. – Улетел!» – и вся беседа.

Тут и Андрюха Есаулов. Сам с собой скрипит зубами и гогочет – вечно такой он: неунывный. Упал, говорят про него, в детстве с полатей на пол прямо темячком, так вот с тех пор и веселится. Но не дурак он, а нормальный: считать до ста уже умеет – *атикетки* со спичечных коробков собирает, копит – счёт тем нужен, ну и научился. Долго он у костра уже, наверное, толчётся – чашки коленные себе уже поджарил – ободрал, упав ли, где их? – та и другая у него в больших сплошных коростах – как у коня – в мозолинах как будто. Он, Андрюха, не купается – и никогда, а не сегодня только – воды боится, потому вот. Так просто здесь, на берегу, он. Чтобы побыть со всеми вместе. Компанейский Андрюха – одиночества не терпит.

Здесь же, глядим, и Витька Гаузер, которого зовём мы все не Гаузер, а Маузер. Тут и понятно. Кто ж виноват, сама фамилия велела. Витька привык, не обижается. Мы ему: «Мау-

зер!» Он: «А?» До лихорадки докупался – дрожит всем телом, будто не на песке стоит он, а на веялке, не остановится никак. И уши у него – таких в Ялани из людей ни у кого нет, без спору – большие, как у *марсианина*, огромные, трясётся он – трясутся и они – смешно и видеть – как в мультфильме. И трусы у него, у Маузера, добрые – ниже колен, *семейные*, чуть бы ещё их удлинить, и за исподние сошли бы. Сам Витька тощий, будто лагерник. Доходяга, говорит про него Рыжий. Рёбра у него, у Витьки, все на виду, как на пральнике, – горох на них шелушить можно, шишки ли кедровые. И волосы у него, у Витьки, по всей голове, как на *ерше*, которым стёкла ламповые и бутылки внутри чистят, всегда дыбом, хоть не чеши их, хоть расчёсывай; ещё и белые, как вон у Рыжего ресницы.

Подошли мы. Встали возле.

– Здорово, парни, – говорим.

– Здорово, – вяло отвечают – перекупались все, наверное.

Стоим. Молчим. И мы уставились на проволоку – лежит себе та, угасает потихоньку. А после сколько-то, немного:

Сзади чуть отстоял – и щёлкнул Рыжий пальцем Маузера по уху. Вечно они, ещё с яслей, так – пуще, чем наши Дымка с Буской: ладу меж ними нет никакого, хоть и друзьями называются. Бывает.

Разгневался Маузер – по лицу его заметно: ноздри у него зашевелились, – но говорит он, Маузер, обычное:

– Рыжий!

– Ушастик! – говорит ему Рыжий. Тоже обычное.

– Рыжий, рыжий, конопатый! Убил дедушку лопатой! – добавляет Маузер.

– Ушастик! – повторяет Рыжий.

– А ты курвёнка залупастая! – говорит внезапно Маузер. И трусы на нём – как будто ветром их колышет.

– У-у, – говорит Рыжий. И молчит. Помедлил чуть. И говорит: – Ну, ты тогда – фашист проклятый!

А Маузер – тот и трястись вдруг перестал – спрыгнул с веялки как будто, – побледнел, как обморочный, а был весь такой до этого – как свёкла; отошёл от костра, покрутился в стороне медленно – обронил там что-то словно, так и ищет, – поднял, глядим, с песка палку суковатую, направился с ней к Рыжему. Тот тоже в цвете изменился – не стало видно и веснушек – зарделся так он. Метра два до нас не доходя, замахнулся Маузер ею, палкой этой, на него, на Рыжего, потом вдруг резко повернулся к выскори – лиственницу с корнем в половодье где-то вырвало и принесло сюда – и стал ею, палкой, колотить по ней, по этой выскори. Всю палку – так дубасил – размочалил – как плётка, та сделалась. Ох уж и выдержка – *фашистская*.

А я стою – сначала-то мне тоже вроде интересно было, а тут ни до чего сразу вдруг сделалось – гляжу в небо и вижу: летит по нему, по ясному, ворона чёрная, как головёшка, и несёт в своём поганом клюве тяжёлое что-то, а получше-то присмотрелся, и разобрал: кукан с нашей, что мы поймали с Рыжим, рыбой. Ну, думаю, и сволочь же носатая! Прямо хоть плачь. Но не занюнишь же так – принародно. Только:

– Смотрите! – говорю, рукой указывая в небо.

Задрали все головы вверх, ладошками загородились – смотрят. Но не ворону ищут там глазами – что им ворона? – невидаль какая! – всем уж глаза твари эти намозолили, – решили, самолёт летит какой-то, или спутник. Я и не думаю, что мимо они пялятся. А та – объект – уже над Камнем. Так ничего никто и не заметил. Ещё и солнце, правда, помешало – зашла та, кривонюра, под него, как вражий истребитель.

– А чё – смотрите-то?! – от неба отвернулись все и спрашивают.

– Да чё – ничё, – им отвечаю. – Пролетело.

– Чё пролетело-то? – не унимаются.

– Чтобы разнять, наверное, он для того, – говорит Шурка Сапожников. И говорит: – Обманщик.

Молчу я – вязнут в глотке слова от обиды.

После, как в щепы палку Маузер расколотил и успокоился немного, а остальные все зря в небо поглядели, Рыжий и говорит:

– Парни, айда-те на Бобровку. Тагунков половим – поедим, то чё-то в брюхе заурчало, – опять на нём веснушки проявились – просветлился.

Ну и пошли мы на Бобровку. И Андрюха Есаулов с нами, и Маузер, и Сашка Пуса, и Шурка Сапожников, и Вовка Устюжанин, и Володька Прутовых, и так за нами – мелкота разная последовала – пока не гоним.

Пришли мы на Бобровку, где она не тихая и не глубокая, а мелкая и перекастистая. В ней, в Бобровке, только пьяные, когда *куражатся*, да сумасшедшие, которым всё равно, купаются – вода в ней и в июле ледяная – кони не пьют её – холодная такая. Но тоже вкусная. «В Кеми вода, конечно, добрая, ничё не скажешь, – говорит Иван Захарович. – А уж в Бобровке – как царко-овная; в ей, зуболомной, с головою окупнёшься – все грехи с себя разом смоешь... В яё поссал Егорий Храбрый, когда с Анчутой Лапчатым разделался... Яй-Богу, так в Писаные и прописано».

Снял Рыжий с себя майку, завязал её со стороны лямок узлом – тебе и вентель.

Шаровары, чтобы их не намочить, мы подвернули и рыбачить взялись: двое ведут, а остальные загоняют. Почти полную банку литровую наловили цветных тагунков и голянов. А есть их не с чем.

– Вы тут пока костёрчик разводите, – говорит ребятам Рыжий. – А мы до Машеньки спалкам, на Половинку.

Ребята разжигать костёр остались. А мы с ним, с Рыжим, к Машеньке отправились.

Как подошли, остановились перед окнами, позвали.

Высунулась из окна Машенька, на свет уличный зажмурилась и говорит:

– А это вы опять – немец и мурын. Давно, однако, не видались.

– Пойдём отсюда, – говорит Рыжий. – Она ещё и обзываетса вздумала.

Пошли мы было.

– Да ладно, ладно, неча обижаться, – говорит Машенька. И улыбается. И говорит: – Воду черти возят на обиженных-то. Сказывайте, – говорит, – зачем пожаловали, облазы.

– Хлеба нам, Христа ради, не дашь немного? – спрашиваю я. Рыжий молчит – обиделся по-настоящему, похоже.

– Да дам, конечно, как не дам-то. А ради Христа – дак и особенно.

Дала нам Машенька по целому ломтю, каждый намазав прежде толсто маргарином; дала и соли. Это нам на двоих. Дала ещё и полковриги – на остальных. Протянула она нам всё это в окно и говорит:

– Хлеб да вода – мудрых еда. В рот ломоть – давай молоть. Ешьте, ешьте, не стесняйтесь. Кто мало ест, тот не растёт.

– Спасибо, – говорим мы. И Рыжий отошёл уже – отходчивый.

– На здоровье, милые, – говорит Машенька. Сказала так и скрылась там – в потёмках горенки.

Пошли мы обратно. Идём. За обе щеки уплетаем хлеб, намазанный маргарином и посыпанный солью.

– Вкусно, – говорит Рыжий.

– Вкусно, – соглашаюсь. И говорю: – А мужика-то того жалко.

– Какого? – спрашивает Рыжий.

– А рот которому перекосило, – говорю.

– А-а, – говорит Рыжий.

Я говорю:

– Тому и не попробовать.

Вернулись мы к ребятам.

Поели тагунков – сыром – макая в соль, закусывая хлебом. У костра сидим – костёр-то так, от комаров только. Подбрасываем в него старые еловые шишки. И без огня, конечно, жарко. Рыжий и говорит:

– Баста, орлы! Пора к Пшеничкину Игнату.

Мы: мол, а чё, просил опять он?

– Да-а, я ему, дурак, пообещался, – говорит Рыжий, отвалаясь на взлокоточки и глядя куда-то поверх ёлок. – Заплатит – курева накупим – посмолим маленько, может, – сказал так и циркнул слюной себе через плечо.

Затушили мы костёрчик, дружно пописав на него. Тушить начал Рыжий – он и говорит:

– Одна кобыла всех заманила.

Шкетам идти за нами строго запретив, к деду Игнату мы направились.

* * *

Есть у нас такой в Ялани – Игнат Иванович Пшеничкин. Есть и ещё один такой же – полный тёзка этого, но тот не этот, тот другой, тот родной дедушка Андрюхи Есаулова, и тот двухногий, с тем мы в пристенок часто зудимся на деньги. И с тем сейчас нам лучше не встречаться – задолжал кое-кто из нас ему, да и не мало, а прилично, – ещё поймает и отлупит.

Домишко у Пшеничкина Игната стоит на одали, старенький, пихтового лесу, с маленькими оконцами мутного, зелёного стекла, врос наполовину в землю. Крыша желобниковая. Наличники простые, не окрашены.

Сидит уже Игнат у себя на завалинке, что в деревянной, бревенчатой, опалубке, под левым окном. Ждёт.

Под правым – на соломенной постели лежит кобель старый, с бельмом на одном глазу. Плачет. Шарик.

– Чё ты всё скулишь там. А, гамнюк? Уж надоело, – говорит ему дед Игнат.

Одна нога в сером, латаном валенке с завёрнутым голенищем, другая – на деревяшке с круглой резиновой подмёткой – пристроена на чурке – выставил её дед Игнат – торчит та, как пушка. Из прорехи штанов глядят исподние – зелёные, фланелевые. На голове шапка-ушанка – сидит задом наперёд. Тесёмочки болтаются.

– Здорово, дед Игнат, – приветствуем мы старика.

– Вам наше, варнаки, коли не дразните нарошно, – говорит дед Игнат. – На заработок припёрлись? Или так, куда проскоком?

– На заработок, – говорим мы.

Опять заплакал Шарик.

– Володька, – говорит дед Игнат Рыжему, – пойдика, почеси ему за ухом, тока не шибко – болячка у него там – развередишь.

– Чё, так, ли чё ли? – говорит Рыжий. – Даром, дед Игнат, и чиряк даже не вскакиват.

– Вот выродок, язви тебя... рыжий мерин, – говорит дед Игнат. – Один, наверное, такой на всём белом свете. Ладно уж, сверху полтинничек тебе накину.

– За полтинничек сам пусть чешется, не инвалид войны, – говорит Рыжий.

– Ну и не чеши, плакать будем будто. И, вправду што, сам прочешется, – говорит дед Игнат. – Вот уж пёстрый, дак уж пёстрый.

– Не обзывайся, дед Игнат, – обижается Рыжий. И говорит: – А то уйдём счас от тебя, и будешь...

– Дак доведёшь идь... и зловредный ж.

Подался Рыжий к Шарику.

– Начинайте! – командует старик.

Привалился спиной к оконному наличнику.

Зажмурился.

– Приступайте, мать вашу в болоте через кочку!

Подняли мы его целую ногу на чурку. Сняли с неё валенок. Носок с неё стянули.

– В пим яво, носок-то, пожалуй, не суйте. Пусь на ветру малёхонько обьегат... ото-прел-то, – скрючил пальцы на ноге старик. Ногти жёлтые. Потрескавшиеся. Как глина в зной – так же. – Жарко-то так, и сам, как люша.

– Дед Игнат, тебе щепочкой? – спрашиваем мы.

– Пятку шшэпочкой – конечно, а подошву – когтями, дак чё, – отвечает дед Игнат.

– А проволокой?

– Проволокой нельзя!.. Как можно, – встрепенулся дед, открыл глаза. Ощупал ими наши руки. Закрыв глаза снова. – Я же идь плотяной, а не жалезный... Поехали. Володька! Остань от кобеля – полтинника не увидишь. А и её ещё не дам тебе, зарплату основную.

Скребём мы по очереди старику пятку щепками, щекочем пальцами пятку.

– О-о-ой, ой, ой! Мать вашу в болоте!.. О-о-о-о-ох, хорошо, дак как ещё хорошо-то, просто: ра-а-адась... А пошибче-ка пяточку, пошибче-ка её, древнюю. Так, так её. О-о-о-о. Занозу тока не вгоните... Вот так, вот так её, исхоженную. Ой-е-йёо-ох, деньги зарабатывают. Ой-е-ёах, конхет-пряников накупят. В кино военное сбегает, ох-ой, труженики, шпиёнское поглядят, махоркой вкусно обдыматся.

– Хватит, может, деда, а?

– Дак пошто это?! – приоткрыл – слезятся – глаза. – По рублю ещё не заработали. Чё мамки ваши скажут, грабит, дескать, Игнат наших рабятишек, подзаработать не даёт им, мол...

– Прошлый раз мы и то меньше тебе чесали.

– Прошлый раз я вам деньги раньше работы вашей выдал. И дурак был, говорил уже. Печалюсь – глупый. Не жалаете – дело, конечно, ваше. Других сышшу, ведь тока свистни... Мальцов безденежных в Ялани – как вон воробьёв... О-о-о-о-ой, ой, ой, мило-любо... другой пятки нет, дак жаль вот, то бы и вовсе оно благось... Ну, ту я мысленно... О-о-а-а. По два рубли уже – так считаю. Шибче, шибче. Ну и рабятишки, ну и старальшыки. Не здря сосали титьки мамкины – толк добрый вышел. Ещё копейки по две... Ох, и разорите вы старика – на поминки не оставите и грошика. Через три дни у меня – «За боевые заслуги». За день до Ильи потом – «Орден Красной Звезды». Дожжа не окажется, дак в это же время милости просим. Шашнадцатого, запомните, июля – «За отвагу» – тоже подходите. О-о-ой, хорошо как, замечательно. Денег на вас не напасёшься. Чё дальше – после, доживу ежлив, дак скажу... Там, глядишь, и Спас... Жаль, что царский-то когда, не помню... Знаю, что осенью, а вот когда?..

– Хватит, дед Игнат. Руки уж пристали.

– Ну а ещё-то на копеечку, то вдруг где не достанет... А там и с Богом. В магазин. Чё в магазине этом тока нету... Живой воды? И та, поди, найдётся. А из-за копеечки – нет её – и слатости иной раз какой не приобретёшь – досадно.

– Всё-о-о, не можем больше, руки вон уж занемели.

– Да всё ли? Это на полкопеечки. Ну да будет, уж и вправду, приневоливать не стану, не мучитель, не терзатель какой-нибудь злобный. И то потрудились. На славу. Обувайте. О-о-о-х, жизь – гамно, а деньги – семючки – карман худой, дак всё и высыпаются... С австрийцами, учил Суворов, не водитесь... дак я с ём, с полководцем-то, согласен полностью – дурной народишко, ох и дурной же... эти австрияки.

Обули мы деда. Достал дед из кармана монеты. Долго то с той, то с другой стороны каждую разглядывал – не передать бы лишнего. Расплатился. Рыжему на ладонь – отдельно положил бумажный рубль. Присвистнул Рыжий, сжал кулак свой конопатый.

– Хапуга, – говорит ему дед Игнат. – Козлишшэ алчный... Надо других уже подыскивать... таких – без наглостей.

– Хм, – говорит Рыжий.

– О-о-ой, – говорит дед Игнат. – Душа у меня, рабятишки, шибко пакостная – до того уж тело моё доброе и безответное измучила... Хошь заскулись, ага, как Шарик вон. Што он, што я – паршивцы оба. Вы попросите Бога, поумаливайте, чтобы прибрал меня скорее – то нестерпёж уж. Но. Чё-то всё дёржит, а пошто, не сообщат. Бог рабятишек слушат, как свирельки. Тока ты, Рыжий, не проси – попортишь дело. Прибери, мол, его, Господи... Ага!.. Эх, жись – лапша, а смерть – тарелка...

Пустились мы от деда взапуски. Пыль за нами по дороге – как за волокушей – не продохнуть тому, кто сзади нас останется.

* * *

Подошли мы к магазину. Мужики гурьбятся около – *гоготливые*. МТС наша яланская так называется: «Полярная» – выходной сегодня в *мэтээсе*, перерыв коротенький в работе. После посевной в *колхозниках* раздолбанную технику на Станции подладили маленько, теперь к сенокосу и к уборочной её готовить будут. Но это завтра, с понедельника, хоть и день-то, мужики в шутку журятся, не *начинный*, а – *чижольный*.

И мы на корточки присели тут же – любопытно.

Дядя Ваня Патюков – тот, если выпивши чуток, то по деревне с табуреткой разгуливает – фокус всем желающим и нежелающим показывает: пристроит табуретку сиденьем на землю, сухими, жилистыми руками в её ножки упрётся и стойку на руках сделает – стоит с минуту, с две ли, вниз кудлатой головой, размахивая при этом ногами в начищенных до блеска полуботинках, как сигнальщик. В морской пехоте воевал он.

Сегодня дядя Ваня под хмельком – и с табуреткой. Нас увидел, во весь рот заулыбался – *многозубый*. Табуретку опрокинул, совершил фокус. Майка сползла ему под мышки – живот и спину оголила. Изранен весь он, дядя Ваня, – в синих и розовых рубцах у него и спина вся, и живот – шрапнелью. Парнишкой он ушёл на фронт, вернулся старцем седовласым. Три похоронки во время войны на него приносили родителям – оплакали они его три раза. *Воскрес*. Живой вот. И хороший – не шишига и не жмотик – конфетки нам обычно преподносит.

Угостил нас и теперь, с упражнением закончил только.

Вынул он, дядя Ваня, молча и улыбаясь, из огромного кармана – расстегнул его сначала, на застёжке у него тот, чтобы при фокусе-то из него не высыпались медяки да *паперёсы*, – вынул он из кармана своих широченных *шкер* пригоршню *подушечек* – обнесены конфетки, как сыпью, табачными крошками, – предложил нам *слатось* эту – мы не отказались – чем уж чем, но табаком-то мы не *брандуем* – нормально.

– Ребяти-и-ишки, – говорит нам дядя Ваня. И смотрит на нас на всех по очереди. – Родные вы мои.

И мы ему:

– Спасибо, дядя Ваня.

– Да на здоровье, милые вы мои, на здоровьице, – говорит дядя Ваня и от счастья чуть не плачет, кажется.

И Фанчик здесь же. Прозвище у него такое – Фанчик, а так-то, если по-настоящему: Иван Тимофеевич Верещагин. И он тоже ветеран. Половину нижней челюсти, а заодно и зубы передние, верхние, снесло ему из пулемёта белофинского на фронте, поэтому и говорит он так, что мало кто у него, увечного, что может разобрать. Но кто привык, тот понимает.

С мужиками, слышим, он, Фанчик, такой уговор сейчас держит – если они, мужики, пойдут и принесут ему *белоголовку*, выльет он водку в какую-нибудь посудину, накрошит туда

хлеба и всё это выхлебаёт, а если выхлебаёт и не поперхнётся, то они, мужики, купят ему за это и другую поллитровку, а если не ссилит, не управится, тогда он выставляет им две сразу.

Уговорились. По рукам ударили. Сходил дядя Петя Есаулов, отец Андрюхи Есаулова, в магазин, принёс *белоголовку* и буханку чёрного ржаного хлеба. А Фанчик ждёт его уже, собрался с духом – стоит с деревянной самодельной ложкой – из-за голенища своего ялового сапога только что её вытянул и облизал – в одной руке, а в другой – с пустой консервной банкой из-под какого-то компота – под скамейкой тут же и валялась та, только травой протёр внутри её. Накрошил он, Фанчик, в банку хлеба, бутылку распечатал, в банку вылил содержимое, бутылку в сторону отбросил – в кювет дорожный укатилась та, – хлебать начал. Не давится. Глаза закрыл – сосредоточился – как перед боем. Бежит белое струйкой сверкающей по подбородку повреждённому – под ворот гимнастёрки утекает. Стошнило дядю Петю, отбежал тот к забору, согнулся – в траве как будто, под ногами у себя, выглядывает что-то. И одного из нас стошнило – Маузера – близко уж слишком к сердцу принял всё.

– Тогда пойдём пока отсюда, – говорит нам Рыжий. – Курево и пряников потом, наверное, купим... А то слабак вон вислоухий...

Смолчал Маузер на этот раз, не огрызнулся – виноватый.

И пошли мы.

Возле клуба остановились. Речь со столба по площади разносится. О Кубе что-то и – о Кастро. Молодец этот Кастро – даёт прикурить американцам. Фидель, одним словом.

Стрельнул в громкоговоритель Рыжий из рогатки. Попал. Но ничего с ним, с громкоговорителем, не случилось – бумкнул только и болтает себе дальше.

– Айда на берег, парни, сходим, – предлагает Рыжий.

Но отказались все – вдруг по домам идти засобирались.

– А чё там делать? – спрашиваю я. – Мы же уж были...

– Надо, – отвечает мне Рыжий. И говорит всем остальным:

– Ну, тогда ладно. Сбор через час... примерно, так. На нашем месте – возле Дышшихи. Я, может, курева где раздобуду – и покурим. Ну а на деньги пряников с крем-содой после купим... Счас, и не знаю, чё-то расхотелось.

– Не об мухлюешь? – спрашивает его Шурка Сапожников. – Честно слово?

– Вот вам крест... – начинает было, размашисто крестясь, Рыжий.

– Нет, нет, не так! – перебивает его Вовка Устюжанин. – Ты по-советски.

– Честное ленинское и сталинское, – торжественно произносит Рыжий, выкинув перед лицом по-пионерски руку. – И смертью баушки клянусь.

Деньги он там ещё, у магазина, забрал себе все, под рубаху их упрятав, – наш *казнохран* он полномочный, и дед Игнат его *товариш* и дальний-дальний его родственник, к тому же, так что понятно, мы не прекословим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.